БИБЛЮТЕКА
„ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ
РОССІИ"

Н. Н. Кнорринг

Сфаятъ

ПРИЛОЖЕНІЕ КЪ
„ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ РОССІИ"

ПАРИЖЪ.

Année 1935

Приложение
Supplément 42

Supplément littéraire au Journal «La Russie Illustrée» № 42.



Н. Н. КНОРРИНГЪ.

СФАЯТЪ

Очерки изъ жизни Морского Корпуса въ Африкѣ.

БИБЛІОТЕКА
„ИЛЛЮСТРИРОВАННОЙ РОССІИ"
ПАРИЖЪ

ОТЪ АВТОРА.

Для кого написана эта книга?

Прежде всего, для себя. Мнѣ очень хотѣлось въ какой-нибудь формѣ зафиксировать нѣсколько лѣтъ моей жизни, проведенной на африканскомъ берегу, около Бизерты, гдѣ въ двухъ лагеряхъ — Сфаятѣ и Джебель-Кебирѣ — былъ расположенъ эвакуированный изъ Севастополя Морской Корпусъ. Случайный членъ педагогической семьи этого корпуса, я съ нимъ пережилъ первые годы отрыва отъ родины. Этотъ скорбный моментъ въ моей жизни былъ скрашенъ и подогрѣтъ тѣмъ, что мнѣ, педагогу по профессіи, выпало счастье дѣлать свое дѣло и на чужой сторонѣ. Можно было сказать съ небольшой натяжкой, что перемѣнилась только обстановка: вмѣсто прекрасныхъ зданій — убогіе бараки Сфаята и казематы Джебель-Кебира, вмѣсто Чернаго моря — Средиземное, да вмѣсто вида съ Сѣверной стороны на Севастополь — маячили бѣлые домики Бизерты или далекіе огни Ферривилля...

«Боже мой, сдѣлай такъ, чтобы я могъ всегда примѣнить мои силы!» — эти слова чешскаго поэта Гавличка я всегда вспоминаю, когда думаю объ африканской полосѣ моего учительства. Эти нѣсколько лѣтъ пребыванія въ Морскомъ Корпусѣ, въ русской средѣ, за любимымъ дѣломъ — были для меня, какъ бы переходными — онѣ смягчили тяжесть конца того моего лич-

наго дѣла, которое составляло въ значительной степени содержаніе всей моей жизни. Именно этимъ чувствомъ и опредѣляется мое отношеніе къ тому, что я здѣсь разсказываю.

Я долженъ подчеркнуть, что мои замѣтки — совершенно правдивы, даже въ беллетристической части, при нѣкоторомъ внѣшнемъ вымыслѣ, — и факты, и общій фонъ — вѣрны, не выдуманы. Но это — не исторія.

У меня не было охоты давать полную и всестороннюю картину жизни Морского Корпуса, несмотря на то, что о всѣхъ ея сторонахъ у меня сложились опредѣленные взгляды *) документально обоснованные, для многихъ, конечно, весьма спорные. Тамъ было и плохое, и хорошее. Я здѣсь намѣренно остановился только на второмъ, потому что, помимо личныхъ впечатлѣній, мнѣ казалось, что положительныя стороны этого эпизода нашего бѣженства столь очевидны, что не должны быть забыты.

Въ моихъ воспоминаніяхъ даны будничныя, сѣрыя мелочи своеобразной, неповторимой бытовой обстановки. Я надѣюсь, что читатели прочтутъ о нихъ не безъ интереса, а нѣкоторые, навѣрно, и не безъ волненія, поймутъ и переживутъ мои впечатлѣнія, иногда поневолѣ отрывочныя и недоговоренныя. Многимъ покажутся они слишкомъ субъективными — я это признаю, но въ этомъ ихъ и достоинство, — слишкомъ интимными, даже иногда сентиментальными, но таково уже вообще свойство любимыхъ воспоминаній...

---

*) См. мою статью: „Морской Корпусъ въ Африкѣ“ въ № 7 „Русской Школы за рубежомъ“. Прага. 1924 г.

ЕЩЕ НА РОДНОЙ ЗЕМЛѢ.

Осенью, 1920 года, въ Симферополѣ пришелъ ко мнѣ мой коллега по Харькову съ предложеніемъ занять мѣсто преподавателя исторіи въ Морскомъ Корпусѣ въ Севастополѣ. Расписывая жизненныя блага этого мѣста — квартиру съ ванной, электричествомъ и проч., дѣйствительно привлекательныя въ то время, онъ весело закончилъ: «А въ случаѣ какой-либо эвакуаціи, можно быть увѣреннымъ, что при наличіи флота, Морской Корпусъ всегда выберется благополучно»...

Черезъ нѣсколько дней я сидѣлъ въ Севастополѣ на Минной пристани со своимъ бѣженскимъ багажомъ и дожидался катера на Сѣверную сторону. Прямо, противъ, стоялъ огромный дредноутъ «Генералъ Алексѣевъ». Я указалъ на него женѣ и сказалъ: «Какая громадина! Интересно было бы осмотрѣть.»

Прошло еще нѣсколько дней, и сбылись и мое желаніе, и роковыя слова пріятеля...

Въ памятные дни октября 1920 года у насъ, на Сѣверной Сторонѣ, было все спокойно; было спокойно и въ городѣ, по крайней мѣрѣ, по виду, и вдругъ 28-го съ возвращеніемъ изъ города директора Корпуса к.-а. Ворожейкина все засуетилось и мгновенно разносится вѣсть: армія эвакуируется и, въ частности, Морской Корпусъ направляется въ Тулонъ. (Такъ думали сначала, въ Африку было приказано идти уже изъ Константинополя).

Когда я съ похолодѣвшимъ сердцемъ сообщилъ объ этомъ рѣшеніи своимъ, Ирина залилась слезами. Все внутри переворачивалось — такъ хотѣлось, наконецъ, отдохнуть, а тутъ вновь впереди ужасъ и тягота эвакуаціи, опять бѣжать, таскать корзину съ чемоданомъ, отвоевывать себѣ мѣсто въ очередяхъ, спать не раздѣваясь, оставаясь постоянно со своими думами, и наблюдать въ потокѣ людей то звѣриные инстинкты, то горе, раздирающее душу. . . Сейчасъ, когда я пишу эти строки и смотрю на эту картину, какъ бы со стороны, мнѣ невыразимо жаль всѣхъ насъ; и удивительно, откуда брались силы все это вынести. Но силы были. . .

Весь день прошелъ въ упаковкѣ вещей Корпуса. Складывали къ пристани обмундированія, книги, кровати, географическія карты и, безконечныя по разнообразію, вещи частныхъ лицъ — отъ простыхъ дорожныхъ мѣшковъ до стульевъ и стоячихъ вѣшалокъ включительно. . .

Мысль о катастрофѣ не укладывалась въ головѣ. Она пронеслась, ошеломила и сейчасъ же заслонилась мерзкой суетой, бѣготней, хлопотами и тупымъ глазѣніемъ... Доминировало чувство животной усталости — физической и моральной.

Нѣтъ конца разбитымъ надеждамъ. Только-было присталъ къ пристани. Близкое дѣло, полная опредѣленность цѣлей, обезпеченность простого существованія, южная природа, море, солнце... Погода стояла холодная, но ясная. Мы гуляли по живописнымъ окрестностямъ на Сѣверной Сторонѣ, часто ходили въ «Голландію», бывшую дачу командующаго флотомъ, теперь принадлежащую Корпусу — дача очень красива, въ осеннемъ нарядѣ деревьевъ... Ходили наверхъ, гдѣ строилось превосходное зданіе Морского Корпуса; постройка далеко еще не была закончена. Предполагалось оно грандіознымъ, съ широкой лѣстницей, спускающейся къ самому

морю. Главный корпусъ былъ уже возведенъ, но отдѣлана, т.-е. относительно приготовлена для занятій и жилья была только небольшая часть — помѣщенье для 6-ой кадетской роты и нѣсколько классовъ. Какъ было тамъ хорошо! Въ спальнѣ уже стояли койки, по стѣнамъ были развѣшены картины изъ русской исторіи (изъ прекрасной серіи Гречушкина). Особенно были великолѣпны аудиторіи. Въ нѣкоторыхъ изъ нихъ уже былъ настланъ паркетъ, и онѣ выглядѣли совсѣмъ готовыми, огромныя, свѣтлыя. Стояли парты и каѳедра, виды которыхъ всегда волнуетъ педагога: вѣроятно, также волнуется столяръ, увидя рабочій верстакъ, морякъ — паруса на морѣ, артистъ — театральную залу. Расхаживая по аудиторіи, я, кажется, слышалъ слова, которыя предстояло здѣсь произнести...

И опять все рухнуло... Уѣзжать ли? Тогда у меня не было въ этомъ вопроса. Политическому противнику большевиковъ, выступавшему противъ нихъ всегда активно, начиная съ Харькова, связанному теперь съ военными организаціями, остаться въ незнакомомъ городѣ въ полномъ смыслѣ слова на произволъ судьбы, встрѣтиться съ ними въ качествѣ проигравшаго игру, пойманнаго бѣженца, было страшно и казалось немыслимо...

А тутъ — Франція, культура, предстоящій походъ на большомъ военномъ кораблѣ и, наконецъ, отдыхъ въ смыслѣ установленнаго порядка, безъ случайностей и жестокихъ навыковъ гражданской войны... И еще одно. Я не люблю и боюсь неорганизованности, а здѣсь былъ вполнѣ готовый и дѣйствующій аппаратъ, учебное дѣло, мое любимое, профессія... И еще одно. Сознаніе непрекращенной борьбы, вѣра въ скорый возвратъ, безотчетная, безоговорочная... Итакъ, ѣдемъ. Въ теплыя края, въ синія моря...

Погрузка шла день и ночь. Огромная барка погружалась въ воду, осѣдала. Ночью всѣ окна жилыхъ корпусовъ были освѣщены, двери долго не затворялись. Шла упаковка и увязка вещей; но въ общемъ все дѣлалось планомѣрно, а во многихъ квартирахъ даже не спѣша. Чувствовалась огромная защита флота, его преобладающее значенiе въ данный моментъ. Ночь на 29 октября (ст. ст.), мы провели въ темной квартирѣ — электрическая станцiя была снята. Это было жутко. Подходилъ часъ покинуть «пристань», въ будущее не заглядывалось, а только тревожилось и сжималось сердце. Надъ Севастополемъ колыхалось зарево, доносился безпрестанный шумъ, гудки, какiе-то удары, и въ душѣ наростало щемящее чувство чего-то надвигающагося, апокалипсическаго, противъ котораго нѣтъ защиты... Плакать бы! Негдѣ, некогда плакать, да и слезъ нѣтъ...

На разсвѣтѣ мы покинули родную землю и перешли на барку. Суета погрузки, незнакомыя лица кругомъ; осеннiй вѣтеръ съ утреннимъ холодомъ пронизывалъ и заставлялъ думать не о высокомъ и сложномъ, чего требовала душа въ этотъ моментъ, а о самомъ простомъ, будничномъ, сѣромъ, принижающемъ. Скорѣе бы въ тепло, сѣсть, согрѣться, съѣсть что-нибудь...

Самая эвакуацiя Морского Корпуса не была обставлена сколько-нибудь торжественно въ соотвѣтствiи съ моментомъ, и я объ этомъ жалѣю: повидимому, будничная сторона гражданской войны притупила чувства и многiя картинныя стороны нашей жизни поблекли, осталась привычная проза бѣженской суеты, звѣриная пошлость эвакуацiи...

Я предложилъ о. Николаю, сидѣвшему въ канцелярiи среди груды всякихъ узловъ и вещей — отслужить молобенъ. «Все уже уложено», отвѣчалъ онъ, какъ будто для этого нужны были кресты или иконы. И только одинъ моментъ мнѣ врѣзался въ память. Когда совсѣмъ раз-

свѣло, кап. 1 ранга В. В. Бергъ, командиръ кадетской роты, привелъ своихъ воспитанниковъ въ строю подъ маршевые звуки горна. Звуки трубы рѣзали воздухъ, точно отсчитывали какіе-то сигнальные знаки судьбы...

«ГЕНЕРАЛЪ АЛЕКСѢЕВЪ».

Корабль, перемѣнившій на своемъ короткомъ вѣку нѣсколько названій, возвышался надъ водой, какъ огромная гора. Вступивши подъ защиту его брони, я почувствовалъ себя какъ-то особенно прочно, неуязвимо: казалось, это самое надежное убѣжище. Но вмѣстѣ съ облегчающимъ чувствомъ безопасности и внутренней свободы, я сознавалъ себя на этомъ кораблѣ совершенно ничтожнымъ и маленькимъ — онъ порабощалъ и сковывалъ волю.

«Алексѣевъ» имѣлъ странный и необычайный видъ для военнаго корабля, обыкновенно блиставшаго чистотой. На палубѣ, грязной и черной отъ безконечной погрузки и большихъ запасовъ угля, валялись грудой чемоданы, корзины, ящики и разное, неопредѣленнаго вида, барахло; тащили еще, и еще, и трюмы проглатывали вещи.

Населеніе корабля возрасло въ 7—8 разъ, на его борту было нѣсколько тысячъ человѣкъ различной формы, пола и возраста. Дамскія шляпки, англійскія зеленыя шинели, френчи, русская форма, черныя пальто моряковъ

мѣшались съ кавалерійскими рейтузами, форменныя фуражки съ кепками, полушубки съ каракулевыми саками. Сгрудились предметы домашняго хозяйственнаго обихода — кровати, комоды, самовары; на носу терлись боками коровы, козы... Это былъ не только кажущійся для непривычнаго взгляда безпорядокъ, какой, напр., бываетъ въ школѣ во время перемѣны, это былъ настоящій хаосъ, въ которомъ команда корабля была поглащена нахлынувшей стихіей и растворилась въ ней до неузнаваемости.

— Господа! — слышится голосъ подбѣжавшаго къ толпѣ старшаго офицера, — кто тутъ изъ васъ изъ нашей команды?!

А люди шли, шли, ползли, какъ тараканы, безъ конца подъѣзжали лодки, груженые нужнымъ и ненужнымъ; поднимались по высокому трапу, лязгали лебедки, стучали танками матросы и на бакѣ появились новые баркасы, автомобили. Казалось, этой погрузкѣ не будетъ конца, но людское несчастье гнало въ море, вслѣдъ уходящимъ кораблямъ, и уже вечеромъ на другой день, когда корабль стоялъ на внѣшнемъ рейдѣ, подходили шлюпки и сверху можно было видѣть, какъ, дожидаясь своей очереди, шлюпки подбрасывались волной, и женщины, страдая отъ морской болѣзни, умоляли поскорѣе взять ихъ на бортъ корабля, который стоялъ спокойно въ морѣ, какъ столъ посреди комнаты...

Пристроивши свои вещи, я смотрѣлъ съ величайшимъ интересомъ и волненіемъ на то, что происходило вокругъ. Картины невиданной жизни развлекали и отвлекали... Вечеромъ, съ заходомъ солнца — торжественный и красивый обрядъ — спускъ флага. Горнъ играетъ незатѣйливую мелодію. Всѣ обнажаютъ головы и нѣсколько минутъ толпа стоитъ неподвижно...

Когда, поднявшись съ барки на «Алексѣева», я

взглянулъ на городъ — остолбенѣлъ. Бульвары, всѣ пристани были запружены народомъ. Тысячи глазъ смотрѣли на бухту, гдѣ готовились къ эвакуаціи суда. Внизу, на пристаняхъ былъ адъ. Лодки брались съ боя, вѣроятно, заламывались сумасшедшія цѣны, дрались, вещи сбрасывали въ воду... Было жутко думать, признаваться, размышлять. «Вотъ я стою на неприступной крѣпости и спасаю свою жизнь. Но почему у меня на это больше права, чѣмъ у тѣхъ, кто съ жадностью, завистью, съ мольбой смотритъ съ берега на уходящіе корабли?» Были ли съ берега благословенія — я не знаю, но проклятія были. И теперь, когда прошло нѣсколько лѣтъ съ того момента, какъ тяжелымъ кошмаромъ упали жертвы расправы Бэла-Куна, — я испытываю какую-то неловкость передъ этимъ чернымъ отъ людей роднымъ берегомъ, который я покинулъ, словно чувствую эти взгляды на себѣ. Я понимаю, что за мою свободу и жизнь нужно чѣмъ-то уплатить родинѣ, и знаю, что этотъ долгъ мною еще не уплаченъ. И страшно мнѣ — какую жертву я долженъ принести, что сдѣлать? Легче умереть, но зачѣмъ Россіи моя т а к а я смерть?.. Буду жить съ постоянной памятью о н е й и съ вѣрой въ н е е...

А ночь была опять тревожна. Загорѣлись какіе-то склады на берегу. Заколыхалось зарево. Когда нѣсколько стихло на кораблѣ, стали слышны зловѣщіе шумы на берегу, доносились взрывы и чудился грозный шумъ толпы, неспящей, бурлящей. И ощутился животный страхъ западни. Мы стоимъ въ бухтѣ, какъ въ кольцѣ. Доносились разговоры шопотомъ на кораблѣ, что намъ не выйти въ море, что команда покидаетъ судно и съѣзжаетъ на берегъ, что у насъ нѣтъ хорошихъ качегаровъ, что на кораблѣ много большевиковъ-матросовъ, что заложена адская машина... И поползъ змѣйкой подлый страхъ, и хотѣлось какъ можно скорѣе выбраться изъ

этого замкнутаго пространства и бѣжать отъ нависшей бѣды. ...И когда на слѣдующій день подошелъ буксиръ, и громадный корабль сдвинулся съ мѣста, и поплыли мимо старые корабли, стоящіе тѣсной грядой, Графская пристань, батареи крѣпости, и повертывался городъ, и скрывались его части, заслоняясь одна другой, когда мы вышли въ открытое море и стали тамъ, продолжая обростать мелкими пароходиками, баркасами и лодченками, принимая безъ счета поссажировъ, и когда, разводя пары, корабль задымилъ и сталъ вздрагивать могучей дрожью — тогда появилась увѣренность въ спасеніи, — что мы можемъ уйти...

На внѣшнемъ рейдѣ мы простояли цѣлый день. Спустилась ночь. Корабль набирался силъ, дрожа все больше и больше, чувствовалось огромное напряженіе въ глубокихъ нѣдрахъ этого чудовища, и внизу, гдѣ машинный гулъ становился явственнѣе и гдѣ пахло по корабельному запахомъ пара и машиннаго масла, гдѣ въ различныхъ закоулкахъ то и дѣло попадались какіе-то непонятные и сложные приборы, электрическіе распредѣлители, все это было въ движеніи, гудѣло, ворчало, ухало. Раздавались звонки, вслѣдъ за ними отрывочныя слова команды, стукотня ногъ, громкій разговоръ, вырвавшійся откуда-то съ порывомъ сквозного вѣтра.

Публика стала устраиваться на ночлегъ, отвоевывая себѣ мѣста на палубѣ, въ кубрикахъ, гдѣ попало, гдѣ было тепло и можно было спать. Раскладывались корзины съ провизіей, гремѣли чайники, разспрашивали какъ пройти за теплой водой...

А корабль гудѣлъ все ровнѣе и ровнѣе, и не было замѣтно въ темнотѣ, когда, съ какого момента мы стали отходить отъ береговъ дорогой, родной земли, мелькавшей далекими огоньками. Мы покидали Россію...

Люди суетились, занимались чѣмъ-то насущнымъ,

необходимымъ, неотложнымъ... Кое-гдѣ, у борта стояли группы сосредоточенныя, молчаливыя... Море свѣтилось, блестѣло. Бросали лагъ... Мы уходили...

Моя жена смотрѣла въ даль на послѣдніе огни Севастополя и неутѣшно, тихо плакала...

* *

*

Идемъ въ Константинополь. Но чувствуется, что мы плывемъ куда-то дальше, въ какія-то неизвѣстныя дали. Не все ли равно — куда. Нѣтъ никакихъ плановъ на будущее, даже приблизительныхъ предположеній. Великое дѣло чувствовать себя членомъ какой-либо организаціи, которая имѣетъ свою волю и опытъ. Я связанъ съ Морскимъ Корпусомъ. Куда-нибудь пріѣдемъ, развернемся, учить будемъ, кормить будутъ, а дальше — видно будетъ. Задумываться было некогда. Были еще силы и много силъ, хотѣлось жить, работать, трудиться, смотрѣть, наблюдать, видѣть новыя страны, переживать удовольствіе новыхъ знакомствъ, спорить и мечтать, часами глядя въ море...

Погода, по счастью, стояла хорошая, да на «Алексѣевѣ» и качка не страшна, можно было ходить по палубѣ, какъ по большому бульвару...

На кораблѣ были свои заботы. Это былъ пловучій городокъ. Тревожная бѣготня офицеровъ въ первую ночь объяснялась безпокойствомъ, что корабль дѣлаетъ круги, не слушается руля — ходъ слишкомъ малъ: уголь у насъ есть, но нѣтъ кочегаровъ. Въ топку были мобилизованы пассажиры.

Вечерами иногда сходились въ каютъ-кампаніи: играли въ шахматы, слушали доклады...

Тяжелѣе всего было ночью. Мѣста, койки какой-нибудь у меня не было, приходилось спать, гдѣ придется. Нѣсколько ночей я провелъ на палубѣ, возлѣ четвертой башни. Осенній вѣтеръ пронизывалъ, — не спанье, а дремота. Потомъ часть преподавателей устроилась въ самой башнѣ. Нужно было подниматься по узкой лѣсенкѣ, нырнуть въ низкую дверь и тутъ, на площадкѣ, возлѣ огромныхъ орудійныхъ замковъ, кто на полу, на матрасахъ, кто на чемоданахъ, мы устраивали себѣ постели. Во время пути, когда горѣло электричество, можно было спастись отъ какой-нибудь западни, въ родѣ люка или горловины, или отъ удара головой о какую-либо металлическую штуку, но было тяжко, когда въ Константинополѣ почему-то прекратился свѣтъ, и ночью нужно было пробираться то на камбузъ, то на бакъ за какой-либо нуждой. Спички гасли на сквознякахъ, закоулки невѣроятные, неизвѣстные (казалось, сто лѣтъ къ нимъ не привыкнешь) и препятствія на каждомъ шагу — то сверху, то сбоку, то подъ ногами.

Мой коллега жестоко полетѣлъ какъ-то въ темнотѣ, зацѣпившись за что-то. — «Ахъ, это коминксъ»! — сказали моряки. На вѣкъ запомнилъ это слово Иванъ Владиславовичъ.

Морское выраженіе «полундра» пріобрѣтало какое-то универсальное сакраментальное значеніе. Его кричали всѣ. Кто-то саданулъ одного казака ящикомъ въ бокъ.

— Что жъ ты, милый человѣкъ, — обернулся казакъ съ укоромъ, — полундру бросаешь, а берегись не говоришь!..

Мрачное впечатлѣніе производилъ дредноутъ. Какой-то пловучій утюгъ. Можетъ быть, орудіямъ тамъ было очень хорошо, но людямъ — плохо. Мало помѣщеній свѣтлыхъ, большинство подъ водой. Теперь, отъ переполненія, было безпорядочно, тѣсно и душно. Случа-

лось намъ спать и въ кубрикахъ, на койкѣ и испытать знакомство съ корабельными крысами. Это существа совсѣмъ особенныя, страшныя по своей назойливости, прожоры и воровки — онѣ въ свои логовища тащили все, что могли — вещи, бумагу. Лежишь и слышишь, какъ по трубамъ топочатъ, пищатъ, и потомъ то и дѣло чувствуешь торопливую бѣготню по своей спинѣ; иногда и по головѣ проскочитъ, задѣвая волосы ножками. Ко всему привыкаешь—съ просонья только рукой махнешь, иногда придавишь — испугается, запищитъ...

Уже четыре дня мы были въ морѣ. Огромная масса бѣженцевъ организовалась по своимъ частямъ. Длиннѣйшія очереди въ камбузѣ, за горячей водой, у опрѣснителей.

— Николаевское кавалерійское училище! Подходи!

— Минная бригада!

— Ледоколы!

Шумъ, толчея, перебранка, грозные окрики, угрозы рапортомъ. Морской Корпусъ имѣлъ свое хозяйство на палубѣ. Всяко ѣли: и наварный супъ изъ баранины, и недоваренныя макароны на морской водѣ. Подъ конецъ черный хлѣбъ рѣзался кусочками, какъ шоколадный тортъ, корнъ-бифъ дѣлился по ломтикамъ. Плохо было, когда прекратилась топка и перестали работать опрѣснители. На такую массу людей трудно было заготовить воду. Когда водовмѣстилища корабля набирали воду, то, кажется, не пропадало даромъ ни капли. Около худыхъ мѣстъ шланга стояли съ чайниками, приспособляясь къ тоненькимъ струйкамъ, бѣгущимъ въ разныя стороны. По секрету передавали мѣста, гдѣ можно было нацѣдить воду, и тихомолкомъ отправлялись туда и гдѣ-нибудь у маленькаго крана буквально по каплямъ набирали воду. Стирать было нельзя, ходили грязными, вши заѣдали. По нѣскольку разъ въ день, особенно ночью,

какъ ложиться спать, снимали съ себя бѣлье и занимались «регистраціей бѣженцевъ». Мучительно пользоваться только одной морской водой. Руки становятся клейкія, цѣпкія. Надѣвать что-нибудь мука — задѣнетъ, упрется кулакъ въ подкладку — и ни взадъ, ни впередъ.

Перепутались краски, перемѣшались понятія. Военный корабль походилъ на огромный пароходъ, перевозившій какихъ-то переселенцевъ или погорѣльцевъ... Во время воскреснаго смотра, когда команда выстраивалась въ ожиданіи командира, тутъ же на «священномъ» мѣстѣ, на шканцахъ, дамы пекли лепешки на примусѣ...

Къ горнымъ воротамъ Босфора мы подошли днемъ и стояли что-то очень долго. Командиръ набиралъ паръ, намѣреваясь пройти проливомъ самостоятельно, безъ буксира. Теченіе въ Босфорѣ сильное, корабль большой, и пара требовалось много.

Вечерѣло.Я сидѣлъ на палубѣ среди искусственныхъ скалъ изъ дорожныхъ вещей. Вдали были видны очертанья береговъ. Я смотрѣлъ на нихъ и думалъ, сколько вѣковъ люди волновались при видѣ этихъ береговъ, за которыми открывались сказки Босфора, для однихъ политическая мечта, для другихъ гордая реальность, а для многихъ — рабство и кровь. Я, какъ историкъ, провѣрялъ себя. Я старался себѣ представить античные корабли, многовесельные, многопалубные, венеціанскіе разноцвѣтные паруса, лодченки руссовъ и позднѣйшіе запорожскіе челны, и рядомъ съ этимъ — невольниковъ, прошедшихъ Перекопъ, груженныхъ въ Кафѣ, полившихъ своею кровью Востокъ. Вспоминались слова украинскихъ думъ, невольничьихъ пѣсенъ и многія другія слова, связанныя съ этимъ узломъ міровой исторіи...

Входили мы въ Босфоръ увѣренно, въ тихій ноябрьскій вечеръ при заходящемъ солнцѣ. Конечно, всѣ были

на палубѣ, запрудили ее всю, такъ что изъ за спинъ и локтей панорама была видна лишь по кусочкамъ. Пришлось переходить съ одного мѣста на другое, съ борта на бортъ, чтобы не пропустить великолѣпныхъ видовъ.

Стали на рейдѣ Мода. Тамъ же собрался весь флотъ. Начиналось «завоеванiе» Константинополя. Турецкая столица еще не видѣла въ своихъ водахъ русскихъ военныхъ кораблей (если не считать стацiонеровъ) съ такимъ сильнымъ вооруженiемъ. Но вмѣстѣ съ кормовымъ андреевскимъ флагомъ на гротмачтахъ развѣвался французскiй флагъ — мы отдались подъ покровительство Францiи. По существу это дѣло не мѣняло: черезъ старыя ворота морскихъ путей вливалась волна русской колонизацiи...

Вотъ и Царьградъ. Стамбулъ, св. Софiя, башня Галаты... Кто мечталъ все это увидѣть, — смотрите... Ялики, каики, апельсинныя корки въ водѣ плещутся у борта, турки въ фескахъ... Все это мы уже видѣли.... на картинкахъ. Сладокъ рахатъ-лукумъ и сушеные финики. У кого есть лишнiя деньги, — покупайте.

У меня не было денегъ, и «мои» не съѣзжали на берегъ. Такъ и не видѣли они ни простора св. Софiи, ни византiйскихъ фресокъ, ни саркофаговъ Оттоманскаго музея... А я-то разсказывалъ имъ о своей студенческой поѣздкѣ сюда!..

Какъ скучно стоять на одномъ мѣстѣ, на якорѣ, не съѣзжая на берегъ. Вокругъ все изучено досконально, кажется запомнилъ навсегда каждый выступъ пристани, каждый контуръ зданiй отъ обычныхъ европейскихъ домовъ до какой-то казармы въ арабскомъ стилѣ на азiатскомъ берегу, но нѣтъ, ничего не помню сейчасъ: какъ во снѣ все было...

6/19 ноября справили праздникъ Морского Корпуса. Помню, молебенъ на палубѣ, нѣчто подобiе парада, какая-то ѣда въ каютъ-кампанiи...

На кораблѣ публика стала уменьшаться. Началась сортировка. Многимъ пришлось невольно остаться въ Константинополѣ. Было рѣшено очистить корабль отъ невоеннаго элемента и, главнымъ образомъ, отъ женщинъ и дѣтей...

Куда мы идемъ? Кто говорилъ — въ Тулонъ, кто въ Африку. Наконецъ, выяснилось окончательно — идемъ въ Бизерту. Гдѣ это?.. Гдѣ-то въ Африкѣ, — значитъ тепло, солнце... Тамъ можно отдохнуть.

«КОНСТАНТИНЪ» и «КРОНШТАДТЪ».

Маленькій, но очень уютный пароходъ «Русскаго Общества». Онъ долженъ былъ везти невоенный элементъ въ Африку. Нѣсколько человѣкъ отъ Морского Корпуса, въ томъ числѣ я, отправились на предварительную развѣдку: предстояло осмотрѣть пароходъ и распредѣлить въ отведенныя намъ помѣщенія семьи Морского Корпуса, болѣе 90 человѣкъ. Впослѣдствіи, при всевозможныхъ раздачахъ и очередяхъ, эта цифра всегда пугала и вызывала большія подозрѣнія.

«Константинъ» былъ дѣтскимъ и женскимъ царствомъ. Послѣ походно-бѣженской обстановки военныхъ кораблей, дамы какъ-то повеселѣли: такъ отвыкли всѣ отъ комфорта, такъ привыкли чувствовать себя въ положеніи вещи, которую вмѣстѣ съ ящикомъ отправляютъ въ трюмъ. А тутъ — все къ услугамъ именно человѣка-пассажира. Вечеромъ, въ большой гостиной, при гостепріимномъ свѣтѣ электрической люстры — шахматы... пѣніе... піанино...

На насъ, прикомандированныхъ корпусныхъ мужчинъ (насъ было около десяти человѣкъ), лежала довольно склочная обязанность по хозяйству. Нужно было каждый день по списку производить выдачи съ отмѣтками хлѣба, сгущеннаго молока, консервовъ и также присутствовать на камбузѣ при выдачѣ обѣдовъ и ужиновъ. Помимо этихъ постоянныхъ выдачъ частью бывали выда-

чи чрезвычайныя — апельсиновъ, какао, вина, галетъ, яицъ или еще чего-нибудь. Это было уже сложнѣе — приходилось сначала произвести учетъ того, что имѣется для раздачи, потомъ прикинуть, по какой мѣрѣ придется на лицо и т. д. Конечно, не обходилось безъ мелкихъ недоразумѣній и сѣтованій, но я не помню, чтобы они принимали размѣры большихъ непріятностей. Шло все хорошо. Совмѣстная работа успокаивала нервы, общая судьба всѣхъ объединяла, и понемногу всѣ перезнакомились.

Скучная пароходная жизнь, монотонная, утомительная. Въ каютѣ второго класса насъ было человѣкъ десять — съ громоздкими и неуклюжими вещами — негдѣ повернуться. Обычно я спалъ на палубѣ — или на ютѣ, на скамейкѣ или на спардекѣ. Подложишь матрасъ, завернешься одѣяломъ, — очень пріятно. Донимало «скатываніе» палубы. Операція эта, хотя и не очень долгая, но безпокойная, особенно раннимъ утромъ — приходилось складывать вещи и передвигаться съ мѣста на мѣсто.

«Константинъ» хорошо устроенъ, машина ровно работала «какъ швейная машина» — хвалился капитанъ, но маленькій пароходъ былъ подверженъ качкѣ...

Изъ Константинополя мы вышли при хорошей погодѣ, послѣ Дарданеллъ, въ открытомъ морѣ покачивало, но сносно, можно было днями сидѣть на палубѣ, на солнышкѣ, на влажномъ воздухѣ, встрѣчать и провожать глазами живописные островки Эгейскаго моря. Когда мы подходили къ Наварину мимо рѣзныхъ и разноцвѣтныхъ скалъ, — посвѣжѣло, но мы благополучно прошли мимо острова Сфактеріи (я, конечно, вспомнилъ эпизодъ изъ Пелопонесской войны) и встали въ глубинѣ Наваринской бухты, возлѣ островка.

Къ вечеру начался штормъ. Наваринская бухта плохо защищенная. Вѣтеръ настолько окрѣпъ, что одинъ

миноносецъ сорвалъ съ якорей. Началась тревога, замелькали сигнальные огни...

Погода еще не успокоилась и море было безпокойно, когда поздно вечеромъ, уже при огняхъ мы вышли изъ бухты. На меня всегда производилъ тяжелое впечатлѣніе выходъ въ море въ холодную, свѣжую погоду послѣ захода солнца. Жутко смотрѣть въ даль на посѣрѣвшія волны, неласковыя, ворчливыя. И даль казалась огромной пропастью, мрачной и безконечной, особенно съ домашнихъ пригрѣтыхъ уголковъ парохода, залитыхъ свѣтомъ и морскими запахами пара и кухни.

Какъ только завернули за молъ, какой-то ударъ подбросилъ пароходъ, потомъ еще, — и пошло, и пошло. Сначала казалось что это такъ, пройдетъ, и пароходъ придетъ въ равновѣсіе, но онъ раскачивался все больше и больше, и тогда пронизывала мысль, что это и есть болѣзнь, качка, что ей конца не будетъ, и что же дѣлать теперь? Послышались первые стоны, предательскіе, словно всѣ ихъ дожидались, и въ дамскихъ каютахъ началось то, что полагается при морской болѣзни...

Я рѣшилъ немедленно лечь на койку и дремать и слышалъ, какъ нѣсколько морскихъ офицеровъ прибѣжали къ дамамъ на помощь и кричали:

— А вы харчите, харчите больше!..

* *
*

Рано утромъ 21 дек. н. с. мы входили въ Бизерту. Полуразрушенный германской миной волнорѣзъ, молъ съ обычнымъ маякомъ. Прошли каналомъ, который соединяетъ большое внутреннее озеро съ моремъ; этотъ каналъ проектировался еще въ древности. Сейчасъ же, справа, развернулась пальмовая аллея передъ пляжемъ. Низкія, толстыя, густыя пальмы посажены, какъ въ кадкахъ, и кажутся искусственными. Высокія пальмы въ

скверѣ. Вокзалъ съ башней въ мавританскомъ стилѣ. Вдали казармы бѣлыя, стройныя, то же восточныя по виду. Передъ нами развертывался городокъ чистый, живописный. Пригородныя дачи примыкали къ нему зелеными кучками садовъ, издали очень красивыхъ. Мы стали ближе къ противоположному берегу, противъ дачи морского префекта.

Мы долго разсматривали эту африканскую землю, на которую предстояло вступить. За городомъ виднѣлись поля, сплошныя маслинныя рощи, которыя замыкались очертаніями горъ, и намъ казалось, что тамъ, за этими горами, начинается сама пустыня. У каждаго города, каждой мѣстности на землѣ есть свой запахъ, свое отличье, что виситъ въ воздухѣ. Это неслось и къ намъ вмѣстѣ съ бѣлыми плащами арабовъ, въ красныхъ фескахъ съ громадными кистями, красными шешья рабочихъ съ бронзовыми босыми ногами, криками ословъ и звономъ бубенчиковъ извозчиковъ-одноколокъ. Вмѣстѣ съ любопытствомъ рождался вопросъ: что будетъ съ нами? Но этотъ вопросъ ставился не во всю глубину, а только въ предѣлахъ ближайшаго времени, почти завтрашняго дня. Не было ни огорченій, ни сожалѣній, пройденъ утомительный путь и вотъ она — пристань, чужая, совсѣмъ чужая... Но бодрости было много и сколько надежды! И надо всѣми сложными переживаніями висѣло желаніе поскорѣе опуститься на землю, занять на ней свое мѣсто и только бы получше занять, захватить его — а тамъ видно будетъ...

Мы себя чувствовали живыми частями огромной живой машины, имѣвшей свой разумъ и внутреннюю силу, которыя и пустятъ эту машину въ ходъ. А мы, живые винтики, заработаемъ каждый на своемъ мѣстѣ. Существуетъ твое «я» только въ той степени, въ какой ты связанъ съ этой машиной. Это сознаніе кабалило, но успокаивало и странно примиряло. Я думаю, что также смо-

трѣли на эти скалы, маслинныя рощи и бѣлыя плоскія крыши изъ темныхъ трюмовъ турецкихъ фелюгъ скованные плѣнники невольничьихъ каравановъ триста, двѣсти, а то и сто лѣтъ назадъ. Горькія думы о хатѣ на «рідной Полтавщіні» истомили сердце и выплакали всѣ слезы, и теперь одна мысль, одно желаніе — скорѣй бы куда-нибудь сѣсть на землю, а тамъ, что Богъ дастъ...

«Константинъ» оказался въ Африкѣ первой ласточкой. Мѣстныя власти далеко не вполнѣ были освѣдомлены въ томъ, что происходитъ, когда нѣсколько дней спустя одинъ за другимъ стали входить въ каналъ и размѣщаться на внутреннемъ рейдѣ русскіе военные корабли. Встрѣча каждаго была для насъ радостью, какъ встрѣча соотечественника на улицѣ незнакомаго города. Пришли ледоколы, пришли красивые миноносцы, съ ними на буксирѣ красный, недостроенный «Цериго». Цѣлый праздникъ былъ, когда однимъ изъ послѣднихъ показались за волнорѣзомъ огромныя башни «Генерала Алексѣева». Мощно и грузно вошелъ онъ въ гавань, сбивъ съ якоря на пути, какъ пробку, одинъ изъ бакановъ. Съ приходомъ «Алексѣева», который везъ кадетовъ, какъ бы соединились обѣ половины Морского Корпуса.

Но особенно торжественно вошелъ «Генералъ Корниловъ». Появленіе его было незабываемо трогательно. «Корниловъ» пришелъ послѣднимъ заключительнымъ аккордомъ. На немъ былъ командующій эскадрой адм. Кедровъ, стоявшій на мостикѣ со штабомъ. На каждомъ кораблѣ былъ выстроенъ почетный караулъ, и когда съ флагманскаго корабля раздавался сигналъ — проникновенные, продолжительные, со «слезой, дрожащіе звуки горна, каждый корабль отвѣчалъ на привѣтствія адмирала...

*

* *

Берегъ былъ близко, но земля была далека. На гротъ-мачтѣ былъ поднятъ желтый флагъ — мы въ карантинѣ. Нѣкоторое время спустя мы покинули уютныя помѣщенія «Константина» и перебрались на «Кронштадтъ», огромный океанскій пароходъ, приспособленный подъ мастерскія. Дѣйствительно, это была какая-то пловучая фабрика... Въ одномъ отдѣленіи визжали пилы, въ другомъ — металлическіе сверла, внизу, въ преисподней, пыхтѣли пламеннымъ огнемъ горна и ухалъ паровой молотъ.На пароходѣ были сотни механическихъ станковъ и громадное количество матеріаловъ. Было очень жаль, что французы взяли себѣ этотъ пароходъ — на немъ, въ его мастерскихъ тысячи бѣженцевъ могли бы найти себѣ работу...

Мы расположились на полу въ одной изъ мастерскихъ среди станковъ, колесъ, приводовъ. Ночью, повертываясь съ боку на бокъ, стукались головой о какія-то металлическія части.

Здѣсь мы встрѣтили Рождество, и о. Георгій растрогалъ насъ въ церкви, заставивъ вспомнить о снѣжной морозной рождественской ночи въ Россіи... А на новый годъ была елка на «Алексѣевѣ» въ Морскомъ Корпусѣ, и я отправился туда. Елка была устроена на ютѣ, вокругъ нея собрались кадеты, подчищенные и подтянутые. Три громадныхъ орудія смотрѣли изъ башни. Били склянки, по особому въ этотъ день—ударъ изъ трехъ частей... Послѣ молебна и общихъ поздравленій, я сказалъ нѣсколько словъ, какъ историкъ. Я вспомнилъ прообразъ нашей елки въ Римѣ, какъ праздникъ золотого вѣка, праздникъ рабовъ, напомнилъ, что въ древности мѣсто, гдѣ мы находились, было однимъ изъ перекрестныхъ путей міровогo невольничьяго рынка. Мечты о золотомъ вѣкѣ на палубѣ военнаго корабля въ эпоху гражданской войны звучали, можетъ быть, глухо, особенно въ присутствіи пушекъ, но исторически здѣсь, мо-

жеть быть, и были параллели — вѣдь и Овидій жилъ въ эпоху гражданской войны...

А затѣмъ — кадеты отплясывали въ присядку, и мы въ командирской каютъ-кампаніи, гдѣ помѣщались преподаватели, пили чай до глубокой ночи и ѣли свой праздничный паекъ съ точнымъ счетомъ мандариновъ и финиковъ на человѣка...

* * *

Наступили теплые дни. Грѣло солнце. Плескалось море... Жизнь въ ожиданіи перемѣнъ, безъ опредѣленнаго дѣла начинала утомлять. Уже два мѣсяца, какъ мы на водѣ. Съ утра до вечера видѣть эту воду, то зеленую, то синюю, то чистую, то грязную, дышать соленой влагой, слоняться по палубѣ и спардеку, дожидаясь съ животнымъ нетерпѣніемъ камбузныхъ выдачъ, торопиться занять мѣсто поближе, изучать очертанья береговъ и думать — гадать о ближайшемъ будущемъ, когда можно будетъ ходить по этимъ улицамъ, дышать воздухомъ полевыхъ дорогъ, потрогать ногой траву, потрясти кусты... Появилась страстная жажда земли. Ее пойметъ только тотъ, кто бывалъ подолгу въ морѣ, только тотъ пойметъ эту сосущую, физіологическую тоску по землѣ. Въ ней есть что-то извѣчное, мистическое. Это томленіе сказалось и въ стихахъ Ирины, тогда еще маленькой дѣвочки.

ВЪ КАРАНТИНѢ.

Спустился вечеръ молчаливо,
Неподвижный воздухъ сны даритъ
Молчитъ нѣмая даль залива,
И мѣсяцъ волны золотитъ.

Спокойно все; чуть волны плещутъ,
Повсюду мракъ, объятый сномъ,
И маяки, какъ звѣзды, блещутъ
Въ туманномъ сумракѣ ночномъ.

Едва освѣщены огнями
Давно уснули корабли,—
А тамъ, подъ лунными струями,
Молчитъ угрюмый ликъ земли.

«Земля»! О, сколько это слово
Желаній радостныхъ таитъ,
Оно звучитъ любовью новой,
Оно зоветъ, оно манитъ.

Такъ тянетъ въ рощи, въ степи, въ горы,
Гдѣ зелень, счастье и цвѣты,
Уйти отъ праздныхъ разговоровъ,
Отъ скуки, сплетенъ, суеты...

Но желтый флагъ тоскливо вьется,
Но гладь морская широка,—
И сердце такъ уныло бьется,
И всюду хмурая тоска.

Молчитъ корабль въ тиши залива,
На мачтѣ красный огонекъ,
А черный берегъ молчаливо
Манитъ, таинственно далекъ.

17 января 1921 г.
Бизерта. «Кронштадтъ».

Наконецъ, рано утромъ подошелъ большой французскій катеръ, забралъ насъ, корпусныхъ, со всѣми вещами, и мы, провожаемые завистливыми взглядами остав-

шихся, мимо бухты Карубы и «Алексѣева», стоявшаго недалеко отъ нея, прошли большое озеро и причалили къ пристани Ферривилля. Отсюда тронулись въ госпиталь для дезинфекціи. Послѣ довольно непріятной процедуры купанья въ полухолодной водѣ и весьма поверхностной дезинфекціи, мы, облачившись въ пижамы, вошли въ больничные бараки. Три дня, проведенные здѣсь, показались раемъ. Вкусная госпитальная ѣда (мы за ней ѣздили съ маленькими каретками на рельсахъ), вино, масса новыхъ впечатлѣній, теплые дни, когда можно было сидѣть безъ пальто на солнцѣ,—все это успокаивало нервы, а когда вечеромъ, откинувъ бѣлыя, пушистыя одѣяла, мы утонули въ пружинахъ госпитальныхъ кроватей и спали на чистыхъ простыняхъ, безъ всякой предварительной «регистраціи», — хотѣлось подольше не уходить изъ этихъ простыхъ больничныхъ бараковъ. Повидимому, то-же самое испытывала и дамская половина Морского Корпуса. Дамы очень стѣснялись своего костюма, и мы много смѣялись, какъ онѣ жались во фланелевыхъ пижамахъ и короткихъ штанишкахъ въ обтяжку.

ЛАГЕРЬ.

Ѣдемъ въ закрытомъ фургонѣ. Плохо видно—приходится закрываться отъ холоднаго вѣтра... Колеса стучатъ по шоссе.

Выглядываемъ въ щелочки, высматриваемъ. По обѣимъ сторонамъ непроходимая стѣна кактусовъ, за ними поля. Въ одну сторону онѣ упираются въ горы, въ другую — въ море.

Мы ищемъ мѣстнаго, необычайнаго... Ранній часъ. Тянутся арабы съ овощами на рынокъ. Мелькаютъ черные пиджаки, красныя шапки... Прошла дебелая женщина въ широчайшихъ бѣлыхъ шароварахъ — еврейка. Неожиданно изъ за угла улицы проскочилъ арабъ верхомъ, въ живописномъ костюмѣ. Вотъ, вотъ онъ!..

Арабъ горячилъ молодого коня...

Стучитъ фургонъ. Въѣзжаемъ въ какое-то ущелье. Каменоломни. Дорога сворачиваетъ круто вправо и постепенно зигзагами поднимается кверху. Съ каждымъ поворотомъ открываются виды... Маслины, долины, пашни, скалы, море...

Фургонъ накреняется, точно въ рытвину падаетъ. Мы стукаемся головами. Лошади встали. Нашъ вожатый, солдатъ въ суконномъ желтомъ костюмѣ съ широкимъ шерстянымъ краснымъ поясомъ и съ широкими шароварами съ мотней, въ голубомъ расписномъ жиле-

тѣ — съ кѣмъ-то перекидывается словами. Слышна русская рѣчь... Пріѣхали.

Неловко вылѣзаемъ, распрямляемся, оглядываемся. Шоссе переходитъ въ мощеныя улицы. Рядъ бараковъ, досчаныхъ, крытыхъ черепицей. Дома расположены уступами, по склону маслинной рощи, которая спускается въ долину. Дальше необъятная даль. Сразу даже не разберешъ, что тамъ. Блеститъ на солнцѣ огромный кусокъ зеркала, это — вода несомнѣнно. А вотъ надъ обширной котловиной клубится туманъ. А что подъ нимъ? — море? Долина?..

Да, это совсѣмъ новое, непохожее на старое.

— Уединенно...

— Словно въ скиту, — мѣтко замѣчаетъ о. Георгій, пріѣхавшій на другомъ фургонѣ.

Перекинулись впечатлѣніями и сейчасъ же бросились искать своихъ, стаскивать вещи, устраиваться.

Много крови испортили тѣснота и недостатокъ помѣщенія. На всѣхъ угодить было трудно, — тутъ выступали наружу и табель о рангахъ, и мѣстничество, и личныя связи. Хорошихъ помѣщеній вообще не было, если не считать одного каменнаго барака, да и тамъ были сырыя комнаты. Въ лагерѣ ранѣе, во время войны, жили сербы, потомъ онъ пустовалъ и понемногу разрушался. Всего, что хлынуло въ него теперь, онъ вмѣстить не могъ...

За четыре года нашего пребыванія въ Сфаятѣ, кажется не было семьи, которая бы усидѣла на одномъ мѣстѣ съ самаго начала. Наша, напр., перемѣнила четыре квартиры, устраиваясь все съ большимъ комфортомъ. Въ концѣ концовъ, намъ подыскалась совершенно изолированная комната, съ огромнымъ запоромъ на массивной двери. Комната эта служила раньше карцеромъ, оттого, должно быть, и запоръ былъ такой фундаментальный. Полъ земляной, съ приспособленіями для наръ, безъ

окна — свѣтъ проходилъ въ маленькое окошечко-форточку надъ дверью. Я нашелъ помѣщеніе превосходнымъ, и мы прожили въ немъ два года, постепенно приводя комнату въ жилой видъ. Менѣе всего безпокоило отсутствіе окна. При африканскомъ климатѣ, даже въ первую суровую зиму («старожилы» говорили, что такой зимы они не помнятъ) днемъ можно было держать дверь открытой. Черезъ нѣсколько мѣсяцевъ намъ прорѣзали небольшое окно. Видъ съ внѣшней стороны былъ непрезентабельный, такъ что одинъ корпусной гость принялъ мою комнату за прачечную. Главное горе было въ какомъ-то нелѣпомъ устройствѣ двери и порога. Во время сильныхъ дождей, когда вѣтеръ хлесталъ въ дверь, вода ручьями стекала въ комнату и всегда послѣ большого дождя мы вычерпывали воду изъ лужи посрединѣ кабинки. Чего только ни дѣлали съ этимъ порогомъ — все равно заливало. Но вода лила не только въ дверь: въ первый же ливень обнаружились въ крышѣ дыры. Чинить крышу было трудно и послѣ многихъ хлопотъ мнѣ устроили фундаментальнѣйшій потолокъ...

Передъ баракомъ, на бугоркѣ была куртина, росли агавы, тутовое и эвкалиптовое деревья. Агавы — мясистое растеніе, холодное, декоративное. Его жизнь, однако, не лишена нѣкоторой романтики. Когда наступаетъ брачный періодъ, оно расцвѣтаетъ: огромной высоты стволъ вытягивается вверхъ и на самой верхушкѣ распускается цвѣтокъ. Но... «полюбивъ, мы умираемъ», — этотъ цвѣтокъ стоитъ растенію жизни: послѣ цвѣтенія агава медленно засыхаетъ и... выкорчевывается...

На бугоркѣ, между деревьями я протянулъ гамакъ и поставилъ столъ — это была наша дачка. Тутъ, на перепутьѣ дорогъ, мы посиживали, иногда пили чай, иногда спали во время сирокко. Передъ домомъ, черезъ канавку, былъ переброшенъ цементный мостикъ, по утрамъ мы бросали пугливымъ воробьямъ хлѣбныя крош-

ки. Одинъ разъ мы подобрали упавшаго съ дерева воробьеныша, желторотаго — онъ совсѣмъ умиралъ. Положили его въ коробочку, укутали. За ночь онъ отдохнулъ и затрепыхался. Ѣлъ только то, что положишь въ ротъ. Приспособили мы его на дощечкѣ къ дереву — смотримъ, — нашелся родитель, прилеталъ и заботливо кормилъ. Затѣмъ воробьенышъ научился летать и долго раннимъ утромъ, чуть свѣтъ, прилеталъ въ кабинку, садился на окно и начиналъ пищать до тѣхъ поръ, пока ему не давали въ ротъ крошки хлѣба. Мы его прозвали Сфаксомъ. Потомъ онъ исчезъ, оставивъ о насъ, вѣроятно, хорошія воспоминанія, какъ и мы о немъ.

Исторія разселенія жителей Сфаята — своего рода исторія внутренней жизни всего лагеря. Внѣшняя сторона здѣсь была очень показательна. Уменьшалось населеніе, расширялись помѣщенія и, когда корпусъ доживалъ свои послѣдніе дни, жилищный комфортъ достигъ своей предѣльной степени. У насъ, напр., послѣдняя кабинка была настолько велика, что можно было въ ней отдѣлить занавѣской спальню, возлѣ обѣденнаго стола поставить диванъ и устроить въ уголкѣ подобіе кабинета — съ письменнымъ столомъ, полками, которыя быстро наполнялись книгами, всевозможными бумагами, газетными вырѣзками и проч. У дочери была отдѣльная комната, примыкавшая къ нашей. Въ кабинкѣ былъ привинченъ фаянсовый умывальникъ съ резервуаромъ, который наполнялся водой снаружи, и со шлакомъ, отводящимъ воду въ землю.

Внутри кабинокъ въ основаніе строительнаго матеріала легло нѣсколько вещей. Прежде всего — знаменитые топчаны, дощатыя койки. Въ лагерѣ ихъ оказалось огромное количество. Сначала они были пущены въ ходъ только для спанья. Но потомъ ими стали пользоваться, какъ перегородками, тѣ, кому не хватало отдѣльныхъ помѣщеній. Бараки, безъ перегородокъ и потолка, были

сплошь заставлены топчанами съ проходомъ по серединѣ, какъ въ больницѣ или въ казармѣ. Было тѣсно. Черезъ нѣкоторое время топчаны разгородили баракъ на нѣсколько клѣтокъ-кабинокъ, при чемъ для скрѣпы и покрытія былъ пущенъ въ ходъ другой непремѣнный элементъ строительства — одѣяла. Ихъ было то же много, разныхъ сортовъ и добротности. Иногда отыскивалась парусина въ видѣ палатки или паруса, иногда на матеріальную часть уходили флаги, которые какимъ-то путемъ переходили съ эскадры. Эскадра вообще снабжала многими вещами насъ для оборудованія и жизни, оттуда, напр., были взяты массивные желѣзные столы, служившіе вмѣсто партъ для занятій въ корпусѣ. Сѣрыя, коричневыя одѣяла обслуживали положительно всѣхъ: — у кого одѣяло, у кого покрышка для стола, у кого коверъ, такъ что общій тонъ всѣхъ кабинокъ былъ темно-коричневый. Внутри баракъ былъ похожъ на какую-то юрту; изъ темнаго коридора посрединѣ въ кабинки можно было попасть черезъ дверь-занавѣску. Неизмѣнной принадлежностью всякой кабинки была разножка, складной стулъ, штука очень удобная въ нашей бѣженской жизни, но постоянно задѣваемая и цѣпляющаяся за ноги. Вмѣсто матрасовъ выдавали чехлы, которые набивались соломой. Тугой набитый матрасъ былъ, какъ бревно, потомъ солома обращалась въ труху и спать было жестко... до новой смѣны соломы.

Топчанъ, одѣяло, разножка — это настоящія три стихіи нашего бѣженства, съ ними могъ конкурировать развѣ только примусъ.

Конечно, житье въ такихъ баракахъ, (хотя бы и въ отдѣльныхъ кабинкахъ), не способствовало конспиративности. Всѣ знали, о чемъ говорятъ сосѣди, какое блюдо шипитъ на примусѣ и т. д. Но я, право, не знаю, чтобы это обстоятельство особенно усложняло наше положеніе. Къ этому привыкли, вырабатывался своеобразный тактъ,

устанавливалась своего рода четвертая стѣна, какъ на сценѣ — ее чувствовали и понимали.

* *
*

Ночью, часамъ къ двѣнадцати, когда Сфаятъ, обычно, засыпалъ и въ тишинѣ доносились лай собакъ въ арабскихъ деревушкахъ или гудокъ запоздавшаго автомобиля, иногда можно было слышать безпорядочный шумъ голосовъ, то яростные возгласы, то взрывы громкаго смѣха, то вдругъ цѣлая компанія выбрасывалась на улицу, и лагерь, какъ бы пробуждался, прислушивался, потомъ опять засыпалъ, а компанія, быстро удалялась по шоссе, голоса замирали. Дѣло обычное. Засидѣлись гдѣ-нибудь, чаще всего въ преподавательской каютъ-кампаніи, поспорили, пошумѣли и пошли гулять.

Преподавательскій баракъ былъ въ центрѣ лагеря, такой же, какъ и всѣ. Сначала онъ былъ до того густо населенъ, что среди топчановъ, стоявшихъ въ немъ въ двѣ шеренги, чемодановъ, ящиковъ, корзинъ трудно было протолкнуться, но потомъ въ немъ были построены кабинки, маленькія, словно пароходныя каютки. Строительнымъ матеріаломъ, какъ всегда, служили все тѣ же универсальные топчаны и одѣяла всевозможныхъ сортовъ. Сверху сооруженіе накрывалось тентомъ. Пыли въ складкахъ скоплялось невѣроятное количество, но зимой было тепло, особенно при лампѣ. Въ особенныхъ же случаяхъ, когда нужно было долго сидѣть, напр. провѣрять тетради и т. д., то брали въ кабинку примусъ.

Учительская каютъ-компанія была маленькая комнатка, огороженная тѣми же топчанами, гдѣ стоялъ столъ и двѣ-три скамейки. Въ баракѣ были заведены общинные порядки, куплены фаянсовыя тарелки, пріятно замѣнившія казенныя жестянки, и установлено де-

журство. Утромъ можно было видѣть, какъ дежурный крутитъ кофейную мельницу, бѣжитъ съ огромнымъ бакомъ на камбузъ, или съ полотенцемъ въ рукахъ моетъ посуду всей братіи. Въ эту тѣсную комнатушку мы сходились постоянно то со свѣжими газетными новостями, то поговорить о послѣней книжкѣ «Современныхъ Записокъ», то выслушать какй-либо докладъ на разныя темы — текущей политики, литературный и научный вообще. Одно время были въ ходу шахматы. Болѣе всѣхъ мы играли съ Ал. Ник. В—имъ и кап. 2 р. А. Н. В—мъ, всѣ мы играли довольно плохо, но азартно, искренно выражая свои радости и огорченія.

Большинство преподавателей, жившихъ въ баракѣ, хотя носили офицерскіе погоны, были люди, по своему образованію, штатскіе, представители пяти университетовъ: большинство изъ Московскаго—и мы каждый годъ вспоминали Татьяну и пили неизмѣнный въ такихъ случаяхъ глинтвейнъ. По своей «штатскости» преподавательскій баракъ среди военныхъ представлялъ группу лицъ не всегда податливую къ требованіямъ формальной дисциплины, которая проводилась здѣсь иногда безъ особой нужды, т. ск. по привычкѣ. Такъ напр., когда были организованы для преподавателей практическіе уроки французскаго языка и приглашенъ для этого изъ Бизерты преподаватель лицея, молодой, очень милый французъ, мы какъ-то, придя на занятія въ Джебель-Кебиръ, увидѣли на столѣ въ учительской цѣлый регламентъ «Временныхъ правилъ курсовъ французскаго языка преподавательской группы», въ которой значилось, напр., по § 4, что нужно было приходить на урокъ «за 5 минутъ до начала», по § 5 «лица отсутствующія отмѣчаются», а по § 6 «отсутствіе на урокахъ допускается только по уважительной причинѣ, о чемъ за 5 минутъ до урока необходимо поставить въ извѣстность дежурнаго по курсу преподавателя» и проч. Разумѣется, уро-

ки пошли своимъ порядкомъ, а «Временныя правила», плодъ бумажной формалистики, остались безъ употребленія — въ нихъ не было никакой нужды.

Вечерами мы часто сходились въ нашу каютъ-кампанію и засиживались за полночь за столомъ, около большой и свѣтлой лампы (большая роскошь въ то время). Насъ объединяло не только общее дѣло текущаго дня, но и многія интеллигентскія традиціи.

Про старину любилъ говорить Петръ Александровичъ М-въ, нашъ словесникъ, въ прошломъ судья. «Падре», какъ мы его звали, былъ старый баринъ, сохранившій и въ этой бивачной обстановкѣ привычки костромского помѣщика, имѣлъ большой запасъ всякаго рода свѣдѣній, свойственныхъ русскому интеллигенту начала XX вѣка. Страстные разговоры и споры смѣнялись тихой грустью, когда вспоминали Россію, такую близкую и, въ то же время, такую далекую. Какъ-то раскрылась шкатулка Петра Александровича съ сотней всевозможныхъ снимковъ — фамильныхъ фотографій, снимковъ стараго помѣщичьяго дома, молодыхъ лицъ въ студенческихъ сюртукахъ и гимназистовъ въ сшитыхъ на ростъ шинеляхъ и т. д. «Падре» умильно давалъ объясненія, вздыхалъ и былъ разстроенъ.

Населеніе бараковъ жило общей жизнью, какъ бы на виду у всѣхъ: образовалась привычка считать, что суконныя перегородки непроницаемы, и если что нибудь нарушало общепринятый распорядокъ жизни, то внушительное покашливаніе изъ кабинокъ требовало возвращенія къ установленному порядку. Въ преподавательскомъ баракѣ жили холостяки и одинокіе. Это накладывало особый отпечатокъ на весь тонусъ его жизни. Тамъ всегда было шумно и весело. Вѣчно надъ кѣмъ нибудь подтрунивали, пользуясь чьей-либо слабостью. Очень много въ этомъ отношеніи доставалось Ивану Владиславовичу Д-кому, очень добродушному и крайне

разсѣянному человѣку. Прекрасный математикъ, увлекаясь своимъ предметомъ, онъ былъ способенъ забыть все на свѣтѣ; стоило на улицѣ заинтересовать его рѣшеніемъ какой либо задачи, и онъ тутъ же принимался за дѣло, и готовъ былъ на бѣлой стѣнѣ барака писать свои выкладки. Его разсѣянностью пользовались на разные лады. Однажды утромъ, когда Ив. Вл. совершалъ свой утренній туалетъ и все одѣяніе его состояло изъ туфель и наусниковъ, изъ одной изъ кабинокъ послышался голосъ, обращенный къ публикѣ и высказывавшій нѣсколько скептическое отношеніе къ Аполлонію Пергскому, знаменитому математику древности, ученіе котораго о коническихъ сѣченіяхъ Ив. Вл. считалъ геніальнымъ. Слово за слово, горячій споръ перешелъ въ коридоръ, куда выскочилъ Ив. Вл. изъ своей кабинки, затѣмъ спорящіе постепенно продвинулись къ выходу и, въ концѣ самыхъ азартныхъ дискуссій, Ив. Вл., забывъ про свой костюмъ, вмѣстѣ со всѣми вышелъ на улицу...

* *
*

Въ послѣдній годъ удалось сдѣлать общую съ офицерами каютъ-компанію, въ которой во главѣ съ адмираломъ, обѣдали безсемейные. Здѣсь удалось потомъ поставить піанино, устроить пышные турецкіе диваны, развѣсить портреты и картины, въ томъ числѣ Айвазовскаго, и поставить бронзовыя статуи, подарокъ тулонскихъ моряковъ, взятыя съ какого-то корабля. Любили мы часы, проведенные здѣсь вечеромъ, на широкихъ диванахъ, при лампѣ съ цвѣтнымъ шелковымъ абажуромъ, въ уютѣ, устроенномъ нашими дамами...

Сфаятъ рѣзко отличался отъ другихъ лагерей, которые образовались въ окрестностяхъ послѣ того, какъ съ кораблей были списаны не только бѣженцы, но и боль-

шинство команды. Они были помѣщены въ нѣкоторыхъ фортахъ, расположенныхъ по высотамъ въ искусно замаскированныхъ скалахъ. Самый большой изъ этихъ лагерей находился въ Надорѣ, огромномъ лагерѣ, съ обширными и довольно основательными бараками. Тамъ жило нѣсколько тысячъ русскихъ, но мѣста все-таки не хватало и одно время около Надора былъ разбитъ для бѣженцевъ лагерь изъ палатокъ.

Большинство этихъ лагерей было расположено въ живописной мѣстности, за исключеніемъ Надора, который стоялъ на огромномъ плато на солнцепекѣ. Положеніе бѣженцевъ, сбитыхъ въ кучу, хотя и сытыхъ, благодаря заботливости французовъ, было незавидно въ моральномъ отношеніи: не было работы, всѣ сидѣли безъ дѣла и очень скучали. Постепенно, разумѣется, всѣ эти тысячи людей разныхъ спеціальностей, отъ слесарей до оперныхъ артистовъ, разсосались на службу, на работы въ Тунисіи, уѣзжали въ другія страны, но это было не такъ легко, не имѣя свободныхъ денегъ, чтобы подняться. И многіе томились въ этой обстановкѣ непривычнаго бездѣлія...

Мы же, изъ Морского корпуса, съ мѣста имѣли свое дѣло, при томъ національное, которое дало возможность «служить» Россіи даже на чужбинѣ. Учебное дѣло встрѣчало откликъ и поддержку у французовъ — трудно было отказать въ помощи молодымъ, безусымъ мальчикамъ, жертвамъ величайшей человѣческой трагедіи. Многіе изъ нихъ были круглыя сироты, у многихъ родные остались въ Россіи, и они долгое время не имѣли отъ нихъ никакихъ извѣстій, а когда стали приходить письма съ громаднымъ количествомъ наклеенныхъ марокъ, большіе, сѣрые пакеты, то для многихъ они... лучше бы совсѣмъ не приходили...

Корпусъ эвакуировался, забравши съ собой изъ Севастополя не только учебныя пособія, но и много обста-

новки и оборудованія до электрической станціи включительно. Все это требовало размѣщенія, приспособленія въ новыхъ условіяхъ. Сфаятъ былъ *трудовой* колоніей: здѣсь *всѣ* работали, *всѣмъ* находилась работа. Было весело смотрѣть на «стройку» большого коллектива, который постепенно, но очень быстро, разбивался по спеціальностямъ, выдѣляя изъ себя и создавая вновь рядъ мастерскихъ.

Библіотека въ связи съ учебнымъ дѣломъ потребовала даже постройки отдѣльнаго барака. Книжная выдача, заготовка тетрадей и проч. пособій вызвала необходимость устройства переплетной мастерской, которая не только лѣчила старыя книги, но и очень недурно, по крайней мѣрѣ прочно, переплетала новыя, которыя стали поступать въ библіотеку въ изобиліи частью по покупкѣ, частью путемъ пожертвованія изъ разныхъ мѣстъ русской эмиграціи. Отсутствіе достаточнаго количества учебниковъ и наличіе многихъ хорошихъ спеціалистовъ навело на мысль начать печатаніе литографскимъ способомъ собственныхъ учебниковъ. Литографія работала на двухъ станкахъ — нашлись знатоки и этого дѣла — и достойно обслуживала корпусъ. Печатались не только обложки къ тетрадямъ и отрывные календари съ милыми русскими виньетками, но и цѣлые курсы, главнымъ образомъ по математикѣ, въ сотни страницъ.

Потребовались сапожники. Правда, у насъ былъ запасъ «танокъ», да и французы выдавали, но, несмотря на то, что толстыя подошвы утыкивались гвоздями, обувь отъ камней изнашивалась быстро, у кадетовъ, при ихъ бѣготнѣ — горѣла. Нужно было организовать починочныя мастерскія. Затѣмъ, приближалось лѣто, жаркое, африканское, ходить въ тяжелой обуви было невозможно — возникла мысль дѣлать бѣлыя туфли на кожаной подошвѣ. Нашлись сапожники на эскадрѣ изъ матросовъ, но этого было мало — требованія были огромныя — на

нѣсколько сотъ паръ. Назначили плату, весьма скромную. Сапожное искусство постигалось довольно скоро (нѣкоторые еще въ Россіи научились ему, въ годы лихолѣтья), и всѣ мы лѣтомъ щеголяли въ очень недурно сшитыхъ ослѣпительно начищенныхъ туфляхъ.

Едва ли не самая почтенная роль въ дѣлѣ матеріальнаго обслуживанія Морского корпуса выпала на долю сфаятскихъ дамъ. Съ обмундированіемъ въ послѣднее время въ Россіи было очень плохо. Кадеты были одѣты весьма пестро, кто въ курточкахъ морского образца, кто въ англійскихъ зеленыхъ френчахъ. Бѣлья такъ совсѣмъ не было. Французы и тутъ помогли, давая сукно разныхъ сортовъ и много бязи разнообразнаго качества. Началась настоящая женская мобилизація. Оборудовали цѣлую швейную мастерскую, раздобывъ машины на эскадрѣ (чего-чего только тамъ ни было!). Работы оказалось много — вѣдь приходилось обшивать всѣхъ съ ногъ до головы, при скромной платѣ это явилось заработкомъ, и многія дамы обзавелись собственными машинами. Начали съ простыхъ рубашекъ и бѣлыхъ лѣтнихъ брюкъ морского образца (съ клёшемъ), а кончили вполнѣ приличной выработкой суконныхъ костюмовъ, которые выходили изъ дамской мастерской какъ будто изъ настоящей портняжной. Впослѣдствіи было много заказовъ отъ французовъ на шитье военныхъ костюмовъ для мѣстнаго гарнизона и т. д. Въ короткое время благодаря такому оборудованію, всѣ кадеты и гардемарины одѣлись въ форму, что придало имъ очень хорошій видъ и много способствовало упроченію нашей колоніи въ глазахъ французовъ.

Въ успѣшной постановкѣ этихъ мастерскихъ мы всѣ были заинтересованы. Каждому хотѣлось получить себѣ то туфли, то брюки и замѣнить ими свои старыя, уже неудобоносимыя. На этой почвѣ было много всякаго рода бурныхъ конфликтовъ.

— Почему въ первую очередь идетъ строевая часть?

— А почему сукно туда выдано лучше?

— А почему мичманъ NN получилъ брюки, а у него есть свои фланелевыя, теннисныя? и т. д.

Особенно, помню, было много всякихъ препреканій съ начальникомъ хозяйственной части въ первое лѣто, когда народу въ корпусѣ было еще много, а мастерицы — еще безъ достаточнаго опыта, въ матеріалахъ тоже ощущался недостатокъ. Межъ тѣмъ ходить въ жару въ теплыхъ суконныхъ костюмахъ было невыносимо. Просьбы и разговоры съ ближайшимъ начальствомъ мало помогали: всѣ ссылались одинъ на другого. Тогда я, не безъ тайной мысли скорѣйшаго воздѣйствія, подалъ по соотвѣтствующей инстанціи слѣдующую бумагу:

Инспектору Классовъ Морского Корпуса.

Преподавателя Мор. Корп.
Н. Н. Кнорринга

Рапортъ.

Среди тропической зимы
И сѣвернаго лѣта
Въ одномъ и томъ же ходимъ мы, —
И плоть весьма согрѣта.

Чтобы послѣдствій избѣжать,
Предупредивши драмы
(Нельзя же нагишемъ гулять:
И въ Африкѣ есть дамы!),

Прошу въ цейхгаузъ приказать,
Сей избѣжавъ картины,
Мнѣ на штаны и блузу дать
Побольше парусины.

(подпись.)

Рапортъ имѣлъ шумный успѣхъ: онъ перечитывался, списывался, былъ доложенъ директору корпуса, и адмиралъ поставилъ на немъ благопріятную резолюцію.

ДЕНЬ ВЪ СФАЯТѢ.

Утромъ, какая бы ни была погода, около 7 часовъ кадетъ съ горномъ подъ мышкой торопливо спускается по «сокращенкамъ» съ форта въ Сфаятъ. Дойдя до середины лагеря, онъ играетъ побудку. Мѣдные звуки рѣжутъ тишину. И когда затрепещетъ длительная нота первыхъ фразъ сигнала, раздается продолжительный вой Чарли, милаго рыжаго пса, общаго любимца. Чарли подвывалъ побудкѣ, находясь тутъ же около горниста, — и это каждый день...

Послѣ побудки всѣ знали, что дѣлать. Дорожки каждаго были изучены. Тотъ бѣжитъ въ камбузъ за кофе, тотъ за водой для умывалки. Въ преподавательскомъ баракѣ въ каютъ-компанiи шипитъ примусъ и дежурный спѣшно крутитъ кофейную мельницу. Черезъ полчаса около барака, подъ рожковымъ деревомъ собирается группа и двигается на фортъ, на уроки. Неукоснительно каждый разъ ее эскортируетъ Чарли, а когда завелись и другiя собаки, то вся стая.

Въ Сфаятѣ начался трудовой день. Въ канцелярiю прошелъ адъютантъ и скоро тамъ «ундервудъ» застучитъ очередной приказъ по корпусу. Вотъ уже открылась дверь директорской кабинки, адмиралъ вышелъ на площадку и нѣсколько времени постоялъ около капители коринѳской колонны. Въ дамской мастерской уже работаютъ машины. Изъ цейхгауза тащатъ туда огром-

ные куски матеріи. «Дѣдъ» Куфтинъ уже вышелъ изъ библіотеки и направляется въ свою литографію — на немъ ситцевый фартукъ съ каемочкой.

* *
*

На камбузѣ, на краю лагеря, ведетъ и стережетъ свое хозяйство Александръ Федоровичъ К — кій, безсмѣнный глава кухни, вносившій въ свое дѣло огромное упорство и самоотверженность. Ал. Фед. кормилъ насъ очень хорошими, вкусными обѣдами. Искусство его заключалось въ томъ, чтобы сдѣлать это, не выходя изъ бюджета, пользуясь только продуктами нашего казеннаго, весьма однообразнаго пайка, — въ этомъ отношеніи Ал. Фед. былъ артистомъ, а въ готовкѣ какого-либо фасольнаго супа доходилъ до виртуозности. Экономилъ онъ до скупости, до скаредности — у него ужъ ни одна картошка не пропадала, онъ каждую кость, каждую луковку утилизировалъ, но экономія эта была не безцѣльная, а предусмотрительная. Экономя на однихъ продуктахъ, онъ старался что-либо подкупить для разнообразія нашего стола. Кромѣ того, Ал. Фед. всегда имѣлъ въ виду какіе-нибудь дни, когда нужно было угостить на славу — корпусный праздникъ, Рождество, Пасху. Къ этимъ днямъ онъ готовился издалека, подкапливалъ сахаръ, сласти, дѣлалъ цукаты и проч.

Полковникъ К — кій, суровый съ виду, высокій, худой, застѣнчивый, обидчивый и подозрительный, былъ невѣроятно ригориченъ въ области подвѣдомственнаго ему дѣла. Когда на камбузъ перешла корпусная лавка, то покупатели иногда боялись ходить туда за покупками, особенно по части съѣстного — показать, что мы голодны, значило иногда кровно обидѣть Ал. Фед....

Пришли къ кому-то гости. Хозяйка бѣжитъ въ лавку прикупить что-нибудь къ чаю. Сурово встрѣчаетъ ее Ал. Фед.

— Какъ, послѣ сегодняшняго обѣда вы хотите ѣсть?

— У меня гости съ эскадры, Ал. Фед.

— Гости? Сколько человѣкъ? — Въ такомъ случаѣ совершенно достаточно одной коробки сардинъ. Какъ, еще цѣлую плитку шоколаду? Но это очень дорого. Нѣтъ, я вамъ не дамъ большую плитку, возьмите вотъ маленькую, подешевле. . .

Дамочка смирилась, не посмѣла противорѣчить. . .

Чуть свѣтъ полк. К—кій уже на кухнѣ, уходитъ позже всѣхъ, пока не вымоютъ всю посуду. А поздно вечеромъ, часовъ въ десять, въ провіантской комнатѣ камбуза, сплошь заставленной разными корзинами, мѣшками, кульками съ запахомъ настоящей деревенской бакалейной лавки, свѣтится огонекъ — лампа мигаетъ отъ сквозного вѣтра — баракъ весь въ щеляхъ и дырахъ. Ал. Фед. изо дня въ день скрупулезно записывалъ всѣ расходы до послѣдняго сантима. Тетрадокъ этихъ, исписанныхъ его крупнымъ почеркомъ, накопилось множество. Гдѣ онѣ теперь?

* *
*

Полковникъ К—кій давно уже на камбузѣ. Давно уже пришелъ кадетскій нарядъ. Наливаютъ воду въ чаны, разжигаютъ печи, на дворѣ, сидя на обрубкахъ дерева, нѣсколько кадетъ чистятъ картошку. Иногда къ нимъ присоединяется какая-нибудь изъ дежурныхъ по хозяйству дамъ. Здѣсь свои разговоры, въ своемъ родѣ «центрокухъ» и «центрослухъ» — новости, очередныя сплетни и споры.

На горкѣ, около кабинки, закрытой молодыми сосенками, возлѣ кооперативной лавки стоитъ осликъ Гришка,

запряженный въ маленькую, словно игрушечную, шаретку. У насъ было два осла: Гришка и Мишка. Гришка былъ симпатичнѣе, онъ обслуживалъ лавку. Весело бѣжалъ утромъ по шоссе, подъ горку, фыркая и потряхивая мордой, но изъ Бизерты въ гору шелъ лѣниво, не упуская ни одного момента, чтобы отдохнуть. Стоитъ только его хозяину перекинуться двумя словами съ кѣмъ-нибудь изъ встрѣчныхъ, Гришка уже останавливался въ надеждѣ длинныхъ разговоровъ. Шаретку встрѣчали въ Сфаятѣ обычно съ нѣкоторымъ интересомъ, потому что ея содержимое было всегда пріятно. Тутъ были не только вкусныя, съѣдобныя вещи, въ родѣ шоколада, маринованныхъ селедокъ, сгущеннаго молока и проч., но попадались и тетрадки, записныя книжки, хорошіе мундштуки и прочія курительныя новинки.

До обѣда по улицамъ Сфаята пусто — только дѣтишки бѣгаютъ. Въ двѣнадцать часовъ — обѣденный перерывъ. На камбузѣ звонятъ и около его дверей образуется длинный хвостъ съ кастрюльками, тарелками, смотря по выдачѣ. Эта очередь всегда любопытна. Уставшіе, проголодавшіеся бываютъ настроены различно, смотря по тому, чѣмъ будутъ насъ кормить сегодня. Если обнаруживается какая-нибудь фасоль или чечевица, лица вытягиваются, тускнѣютъ. — «Опять фасоль», или «опять шрапнель», раздаются иногда недовольные голоса и бываютъ случаи, что кое-кто демонстративно уходитъ изъ очереди: «Я-де молъ эту гадость все равно ѣсть не буду». Но зато слухъ о какихъ нибудь котлетахъ или пирожкахъ, которыми насъ собирается угощать Александръ Федоровичъ, мгновенно разносится по лагерю, — какъ-то легче было бѣжать, позвякивая тарелками, и въ очереди начинаются смѣхъ и остроты.

— Фуру разгружать! — раздается команда старшины расходнаго взвода.

Уже давно слышны постукиваніе колесъ огромнаго фургона, запряженнаго парой лошадей, и крики погонщиковъ. Это ежедневная привозка провизіи изъ Бизерты — картофеля, капусты, помидоровъ и проч. Кучерами были обычно солдаты сенегальцы, черные, какъ сапогъ; они были очень добродушны и всегда съ удовольствіемъ ѣли русскій борщъ, которымъ ихъ угощали на камбузѣ. Фургонъ проѣзжалъ всегда по одной и той же дорогѣ и въ одномъ мѣстѣ: въ глубокія колеи маленькій Водя длинной лентой складывалъ консервныя коробки, которыя онъ собиралъ по всему лагерю: ему хотѣлось, чтобы громадныя колеса фургона сразу расплющили ихъ, проѣхавъ по нимъ. Мы боялись, что Водя въ своемъ экспериментальномъ усердіи самъ попадетъ подъ копыта или подъ колеса.

Послѣ перерыва опять за работу — до вечера, до ужина. Опять замираетъ улица. Только у камбуза кипитъ работа. У кадетъ лица красныя — у печки жарко, бѣлый костюмъ весь въ сажѣ, руки грязныя — невозможно и папироску скрутить.

Ужинъ. Та же процедура у камбуза, только посуды больше, потому что блюдъ больше.

Послѣ ужина, послѣ того, какъ вымоется въ каждой кабинкѣ посуда, начинается пріятная жизнь отдыхающихъ людей.

Зимой, когда дожди и холодные вѣтры хлещутъ въ лицо, когда на поворотѣ шоссе, особенно на послѣднемъ загибѣ къ форту, буквально нельзя идти прямо, а нужно согнуться, наклониться къ землѣ передъ свистящимъ воздушнымъ потокомъ, съежившись въ комокъ и надвинувши до ушей шапку, — тогда тоскуешь по теплой комнатѣ, по уютной лампѣ подъ абажуромъ, по самовару съ горящими угольками, пріятному креслу, мудрой тишинѣ кабинета, полуразрѣзанной книгѣ новаго журнала и умиротворяющей прелести привычнаго пейзажа на пись-

менномъ столѣ... Свѣтъ на столѣ, покрытомъ суконнымъ одѣяломъ, горячій чай и рядъ милыхъ лицъ въ бушлатахъ, на разножкахъ около стола. Хочется забраться въ кабинку, полотнѣе закрыть дверь, чтобы оттуда не дуло...

Лѣтомъ лучше. Садится солнце, глаза уже не слѣпнутъ отъ каменной бѣлизны. Въ долинѣ пали тѣни. На маслиновыхъ рощахъ — оливковый отблескъ... Начинается время прогулокъ, тихое время, когда никому дома сидѣть не хочется, а хочется не только уйти отъ надоѣвшихъ и скучныхъ бараковъ, но, незамѣтно для самого себя удаляясь по извилинамъ шоссе, идти машинально, никуда, безъ цѣли, можетъ быть даже безъ мысли, забраться на землю, взрытую плугомъ, найти въ ней тропинку и, удаляясь за колючки, за густые гигантскіе кусты ежевики и низкорослыхъ пальмъ, теряться въ поляхъ и неожиданно выйти куда-нибудь на зады какой либо фермы, или очутиться передъ злющей собачонкой изъ арабскаго поселка, который, какъ лишай, прилѣпился къ скаламъ.

Все не сидится, все тревожится,
Въ душѣ — холодный ядъ,
Пойдемъ со мной до раздорожицы,
А тамъ — назадъ.

Въ будни, вечеромъ, въ прогулкахъ на короткую дистанцію былъ у каждаго свой путь, любимый. Если отъ домика сержанта взять круто направо, къ Надору, — можно издали увидѣть твердую фигуру адмирала; если спуститься по шоссе на одинъ этажъ — тутъ будутъ всѣ наши тихоходы: имъ тоже не сидится дома, а далеко ходить они не любятъ.

Большая группа преподавателей выходитъ шумно и весело. Всѣ собаки тутъ же, неизмѣнные спутники, они хорошо знаютъ дорогу, забѣгаютъ впередъ и очень удивляются, если не удается схватить направленіе..

За первымъ же поворотомъ — умывалка съ огромнымъ тутовымъ деревомъ. Хорошо знакомый уголокъ съ испорченной водокачкой (въ началѣ она, правда, дѣйствовала исправно), съ водоемомъ, страшно мелѣющимъ лѣтомъ, съ длиннымъ жолобомъ для стирки. У каждаго изъ насъ былъ свой день — почти цѣлый день здѣсь кто нибудь стиралъ — и кадеты повзводно и мы. Стирать было очень удобно, особенно лѣтомъ, когда палило солнце — бѣлье развѣшивалось тутъ же на кактусахъ или разстилалось на травѣ и высыхало въ нѣсколько минутъ. . .

Тутъ же по обѣимъ сторонамъ шоссе тянулись рощи. Это мѣсто мы прозвали «Геѳсиманскимъ садомъ» — есть что-то общее съ библейскимъ пейзажемъ, какимъ мы привыкли видѣть его на картинкахъ. Вечеромъ листья золотитъ солнце. Послѣднiй свѣтъ, тихiй, меланхолическiй и грустный заливаетъ долину и маслины даютъ свой отблескъ, а когда, послѣ короткихъ сумерекъ, загустѣетъ среди стволовъ тьма и расползутся контуры кактусовъ, тогда уродливыя деревья становятся мрачными таинственными существами и маслинныя рощи принимаютъ какой-то строгiй, мистическiй оттѣнокъ.

Лунной ночью — сказочно. Роса прибьетъ на бѣлой дорогѣ пыль и пахнетъ вѣчнымъ ароматомъ древней земли. Все кругомъ становится полно какимъ-то значенiемъ и перекрещиваются, какъ старыя римскiя, дороги съ современными, — и понуканье ословъ запоздавшей арабской группы и зычные гудки автомобилей. Колючiе, мясистые кактусы на блѣдномъ небѣ вырисовываются крестами, кажутся не растенiемъ, а какими-то живыми страшилищами, пауками, въ тишинѣ ждущими свою добычу. Какъ хорошо — у Бальмонта:

Кактусы цѣпкiе, хищные, сочные,
Странно-яркiе, тяжкiе, жаркiе,

Не по цвѣточному прочные,
Что-то паучье есть въ кактусѣ зломъ,
Мысль онъ пугаетъ, хоть манитъ онъ взглядъ,
Этотъ ликующій цвѣтъ,
Смотришь — растенье, а можетъ быть нѣтъ,
Алою кровью налившійся гадъ?

Видѣли мы и предразсвѣтное небо, зеленѣющее, прозрачное. Однажды, на зарѣ я особенно запомнилъ такое небо. Гдѣ-то бархатное загудѣло въ воздухѣ. Ближе, ближе. Повыскакивали изъ кабинокъ. Это летѣлъ цеппелинъ «Диксмюде», возвращаясь изъ Туниса во Францію. Въ предутренней тишинѣ гулъ его мотора былъ особенно явствененъ. «Диксмюде» летѣлъ надъ каналомъ, направляясь къ открытому морю, летѣлъ низко. На немъ горѣли огни. Какъ сейчасъ помню, у насъ было странное чувство близости къ этому воздушному кораблю, на которомъ жили люди, читали книги, теперь, можетъ быть, мирно спали... Много глазъ ихъ провожало, въ молчаньи, какъ зачарованные, пока онъ не скрылся надъ моремъ. «Дисксмюде» дѣлалъ свой послѣдній рейсъ — на другой день онъ погибъ въ штормѣ у береговъ Сициліи...

Когда есть время, идемъ по Алжирской дорогѣ или на Старый фортъ. Алжирская дорога ведетъ въ долину, по которой вьется, — ей, кажется, не будетъ конца, она взбирается гдѣ то вдали въ гору и упирается въ небо. По долинѣ по холмамъ — квадритики арабскихъ усадебъ — живыя зеленыя изгороди и каменная стѣна построекъ, дворъ, съ садикомъ внутри. Оконъ наружу нѣтъ. Это придаетъ усадьбѣ мрачный видъ крѣпости и заинтересовываетъ: что тамъ внутри, за этими непроницаемыми стѣнами? Маленькія деревушки арабовъ не различить отъ кустарниковъ или кучки камней, какіе-то лишаи по горамъ. Бѣдно живутъ по виду, словно не люди, а ка-

кія-то ящерицы въ скалахъ и такъ, вѣроятно, жили и тысячу лѣтъ назадъ... Вечеромъ, въ этой долинѣ между горъ воздухъ дѣлается особо прозрачнымъ, вся она становится какой-то звучной. Мальчишки арабачата, караульщики садовъ, переговариваются обыкновенными голосами черезъ долину съ одного холма на другой... Когда идешь среди колючей травы по лентѣ-дорогѣ, то кажется, что идешь въ пустынѣ въ невѣдомый міръ, поднимаясь съ холмика на холмикъ, думая, — а за нимъ что? Не край ли свѣта? Нѣтъ, та же дорога и такой же холмикъ впереди...

Дорога на Старый фортъ другая. Заброшенное шоссе носитъ хаотическій характеръ, неубранные камни заросли травой. Попадаются фиговыя деревья, огромныя живыя колбасы, змѣи. Дернешь за одинъ сучокъ и все дерево движется, податливое, неупругое. Книзу тянутся пашни, иногда тутъ растутъ маки и тогда багрѣетъ, смѣется земля. Вечерами тутъ прогоняютъ стадо овецъ. Когда онѣ разсыпались среди черной пашни и мшистыхъ камней, намъ часто вспоминались чьи-то стихи:

Гуляютъ овцы по пустынѣ,
Гуляютъ бѣлыя, какъ снѣгъ,
И тамъ, гдѣ мы ихъ видимъ нынѣ —
Ихъ видѣлъ первый человѣкъ.

Съ горы очаровательный видъ и разнообразный. Все видно: Сфаятъ на склонѣ черезъ дорогу, живописный, расположенный террасами, за нимъ круча Джебель-Кебира, на полпути — домикъ сержанта. Справа внизу — Бизерта. При вечернемъ солнцѣ блестятъ ея бѣлыя постройки и каналъ. По каналу тянутся дачи до самаго озера, далеко на томъ берегу хорошо видны постройки Ферривилля, а рядомъ большая гора Джебель-Ашкель и у ея подножья блеститъ прѣсное озеро.

Тотъ, кто хотѣлъ уйти въ самого себя, остаться со своими думами, тотъ уходилъ гулять по Алжирской дорогѣ, и шелъ по замкнутой котловинѣ, закрытой отъ всего міра горами, песчаными холмами и скалами. А здѣсь все говорило о нашей бѣженской жизни, тутъ была какъ на ладони въ картинахъ вся наша бѣженская исторія. Вотъ стоитъ русская эскадра. Корабли сжаты въ кучу. Миноносцы въ бухтѣ Каруба — бортъ къ борту. Подводки въ другой бухтѣ, рядомъ. «Корниловъ» на внутреннемъ рейдѣ, «Алексѣевъ» еще дальше. Они уже издали кажутся мертвыми — не видно на нихъ движенія, не дымятся трубы. . . .За Бизертой синѣетъ море и сливается съ небомъ. Тамъ идутъ корабли. По вторникамъ изъ Бизерты уходятъ пароходы и всякій разъ кого-нибудь изъ насъ увозятъ. Пароходъ всегда провожаютъ. Машутъ платками, часто завидуютъ. Все кажется, что тамъ, за моремъ будетъ лучше. . . Не хорошо, конечно, завидовать, но въ этой зависти были надежда и жажда жить. Теперь, быть можетъ, у нѣкоторыхъ потухло и то и другое. . .

Съ высотъ Стараго форта дорога въ Бизерту видна не вся, а на закругленіяхъ при подъемахъ. Иногда отсюда мы наблюдали, кто идетъ или ѣдетъ въ Сфаятъ. Самое нѣжное чувство мы питали къ почтѣ, которая въ послѣдніе годы была налажена прекрасно. Вечеромъ, наше привычное ухо схватывало знакомое тарахтѣнье мотоциклетки. То глуше, за поворотомъ, то опять сильнѣе, но все громче и громче и, наконецъ, адъютантъ, лейтенантъ Л. въ шлемѣ и желтыхъ очкахъ-консервахъ въѣзжаетъ въ лагерь, останавливаясь у гаража около цейхгауза. У адъютанта большой портфель, знакомый всѣмъ, очень притягательный и интригующій. Кажется, что вотъ въ немъ сейчасъ и находится то, что ждешь всѣ дни и всѣ часы и что способно разомъ замѣнить скучные дни веселымъ праздникомъ. Отъ почты

всегда ждешь чего-то чудеснаго. Многимъ и писемъ-то ждать не откуда, а все спрашиваютъ Л.: «А что, мнѣ нѣтъ ничего сегодня?» Л. этихъ праздныхъ разговоровъ не любитъ, онъ вообще не любитъ шутокъ въ этой области своихъ обязанностей, и когда ему говоришь въ догонку: «Пожалуйста, писемъ мнѣ побольше привозите!» онъ цѣдитъ серьезно: «Къ сожалѣнію, это не отъ меня зависитъ.»

Послѣ ужина разносится почта. Эти минуты всегда волновали: сидимъ за столомъ и молчимъ, прислушиваемся къ знакомымъ шагамъ по улицѣ. Зимой, когда дождь и темно, онъ иногда ходитъ съ фонарикомъ и блуждающій огонекъ виденъ въ окошко... Все нѣтъ и нѣтъ... Гдѣ застрялъ? У адмирала уже былъ — сосѣди видѣли... Наконецъ, знакомый разговоръ за стѣной, значитъ сейчасъ къ намъ... Сердце даже колотиться начинаетъ... Стукъ въ дверь. «Добрый вечеръ!» Въ рукахъ знакомая книга для расписыванія въ полученіи заказной корреспонденціи. Но ...книга не раскрывается и не кладется на столъ. Л. молча подаетъ одну газету. «А писемъ нѣтъ?» «Нѣтъ».

Ну, ничего, должно быть въ слѣдующую почту будутъ, и нѣсколько рукъ тянутся разорвать газетную бандерольку.

* *
*

Въ праздничные дни прогулки длиннѣе и сложнѣе. Нѣкоторыя изъ нихъ предпринимались на цѣлый день. Напр., цѣлое путешествіе къ морю. Къ западу отъ мыса Бланко — превосходный пляжъ, излюбленное мѣсто для отдыха не только кадетъ, но и всѣхъ насъ. Часто туда снаряжались съ ночевкой, — конечно, преимущественно, молодежь. Но по воскреснымъ днямъ на пляжъ собирался чуть ли не весь корпусъ.

Дорога туда довольно трудная. Километровъ пять нужно было идти сначала по шоссе, затѣмъ перевалить черезъ песчаные бугры, въ которыхъ вязнетъ нога и тяжело идти безъ всякихъ тропокъ, и уже съ этихъ бугровъ спускались на широкій пляжъ, въ глубинѣ котораго узорчатыми струями по песку текъ ручей, черезъ который переходили или по камнямъ или снявши ботинки. У кадетовъ были свои дороги, мало проходимыя для насъ — вообще, они дѣлали огромные концы съ поразительною выносливостью.

На морскомъ берегу, въ известковыхъ скалахъ пещеры, гдѣ можно укрыться отъ вѣтра. На берегу здѣсь разбредались на огромномъ пространствѣ, купались, грѣлись на солнышкѣ до ожоговъ, закусывали и отдыхали. Костры горѣли изъ матеріаловъ, которые выбрасывало море. Съ заходомъ солнца, нехотя, собирались, нагружались пустой посудой и бодрые и свѣжіе шли домой, тяжелой дорогой, поднимаясь все выше и выше. Приходили въ Сфаятъ обычно уже въ темнотѣ, еле держась на ногахъ, но черезъ полчаса отъ усталости не оставалось и слѣда, и послѣ ужина, уже стоявшаго на столѣ, можно было хоть опять собираться въ походъ.

Иногда мы направлялись къ морю съ другой стороны, къ т. наз. Корнишу, очаровательной дорогѣ, идущей по берегу къ Бизертѣ. Здѣсь по скаламъ разбросанъ рядъ фортовъ — Энъ-Эчъ, Сенъ-Жанъ, Рара — во всѣхъ нихъ живали русскіе бѣженцы. Когда въ Корпусѣ одно время наступило увлеченіе велосипеднымъ спортомъ, то Корнишъ сдѣлался любимѣйшимъ мѣстомъ прогулокъ. Если подъемы давались тяжело, часто даже слѣзали съ велосипедовъ, за то по восхитительному Корнишу нѣсколько километровъ, почти до самой Бизерты, можно было проѣхать на свободномъ колесѣ. Послѣдній этапъ былъ до того пріятенъ, что нерѣдко группа возвращалась опять къ высокому пункту Корниша, чтобы

испытать удовольствіе вновь... На привалахъ можно было свернуть съ шоссе, пройти по межамъ, путаясь въ огромныхъ кустахъ ежевики, которую арабы не ѣдятъ, увѣряя, что отъ нея портится зрѣніе. Ежевика крупная и душистая — ею мы объѣдались на прогулкахъ, приносили въ изобиліи домой на варенье и кисели...

Прогулки въ Бизерту обычно связывались съ какимъ-нибудь дѣломъ въ городѣ: необходимостью самому отправиться на почту, зайти въ магазины, къ парикмахеру. Часто заканчивали кинематографомъ. Кино помѣщалось въ недурномъ театрѣ «Гарибальди». Въ немъ музыканты были исключительно русскіе, явившіеся сюда многіе безъ инструментовъ и безъ нотъ и быстро вставшіе на ноги. Маленькій городокъ скоро сдѣлался совсѣмъ русскимъ уѣзднымъ городомъ. Русскихъ служащихъ можно было встрѣтить и въ аптекѣ, и въ кондитерской, и на телеграфѣ... Въ Бизертѣ мы любили заходить въ арабскіе кварталы выпить вкуснаго кофе или на улицѣ тутъ же, у жаровни, съѣсть сосиску, начиненную, какъ будто однимъ перцемъ, послѣ чего горѣло во рту до самаго Сфаята. Справивши всѣ дѣла, поѣвши винограда или финиковъ, съ пакетами въ рукахъ почти всѣ сходились на Place de la Republique противъ Орозди-Бака. Тутъ подбиралась компанія—нанять арабскую лошадку, чтобы не идти пѣшкомъ. Арабъ-извозчикъ везетъ и всю дорогу болтаетъ...

* *
*

Всевозможные семейные праздники въ первое время выражались у насъ въ чрезвычайно обильномъ угощеніи. Въ этомъ сказался своеобразный этапъ нашего времени — тоска по сытой ѣдѣ и особенно, сладкому. По пріѣздѣ за-границу у насъ можно было замѣтить какую-то сахарную лихорадку, усиленное потребленіе шоколада,

конфетъ, печеній. На покупку всего этого тратились большія деньги (въ Константинополѣ мичманъ К. проѣлъ на халву нѣсколько милліоновъ рублей — правда, какихъ?!) и въ первое время на африканскомъ берегу мы мѣняли на плитку шоколада безсчетные «колокольчики»... Выработалось даже на этихъ званыхъ обѣдахъ особое меню — глинтвейнъ и всевозможные торты занимали первое мѣсто. Потомъ сладкое намъ надоѣло, но нѣкая склонность сфаятцевъ къ торжественному пиршественному сопровожденію разныхъ случаевъ нашей жизни продолжала быть существенной чертой нашихъ нравовъ...

Но самыми торжественными днями въ Морскомъ корпусѣ были большіе праздники, въ родѣ Рождества или Пасхи, и особенно 6-ое ноября, день св. Павла Исповѣдника, престольный праздникъ Морского корпуса. Этотъ день праздновался особенно пышно, съ нимъ связывалось у моряковъ много личныхъ дорогихъ воспоминаній.

6-ое ноября красивый праздникъ флота,
Балъ въ залахъ корпуса, на берегахъ Невы...

Здѣсь, на африканскомъ берегу онъ получилъ довольно точное оформленіе. Къ нему готовились задолго. У этого праздника были свои традиціи: когда-то, кажется, имп. Анна Іоанновна прислала въ этотъ день кадетамъ на обѣдъ гуся и съ тѣхъ поръ стало традиціей вводить въ меню торжественнаго обѣда этого дня жаренаго гуся. Въ нашихъ условіяхъ выполнить это было довольно трудно, но старались: закупались гуси и за нѣсколько дней до обѣда около сфаятскаго камбуза носились перья ощипанной птицы. Впослѣдствіи, въ видѣ символа, сталъ подаваться одинъ гусь, на главномъ мѣстѣ, передъ гостями.

Съѣздъ гостей со всей эскадры начинался уже накануне. Собирались моряки, воспитанники Морского корпуса. Въ нашихъ условіяхъ этотъ день былъ не только днемъ воспоминаній: корпусъ, какъ учебное заведеніе, еще существовалъ и еще могъ дать соотвѣтствующую теоретическую подготовку. . .

Начинался праздникъ торжественной побудкой — вмѣсто обычнаго горна приходилъ цѣлый оркестръ и веселые, бодрящіе звуки марша сразу создавали праздничное настроеніе. Затѣмъ въ переполненной церкви молебенъ. Парадъ. Баталіонъ выстраивается передъ воротами форта съ оркестромъ на правомъ флангѣ. Медленнымъ церемоніальнымъ шагомъ выносятъ знамя. Величественная минута: «На караулъ!» Встрѣча командующаго эскадрой. Нѣсколько привѣтственныхъ словъ, поздравленія, громкій отвѣтъ, и «къ церемоніальному маршу!» Бѣлые, стройные ряды приходятъ въ движеніе и съ музыкой — веселое, быстрое шествіе, увлекающее зрителей своимъ ритмомъ, стройностью и бодростью. Зрители, обычно, поднимались на фортовый валъ, оттуда картина была, какъ на сценѣ — красивая, импозантная. . . Номеръ требовалъ выучки, и кадеты всегда тщательно готовились къ этой церемоніи. Бывали курьезы: на одномъ парадѣ у маленькаго кадетика соскочила туфля, но онъ не растерялся, ничѣмъ не нарушивъ строя, а такъ какъ все было бѣлое — и носки и туфли, то въ общемъ не было замѣтно.

По симпатичной традиціи въ этотъ день обѣдаютъ всѣ вмѣстѣ за однимъ столомъ — и бывшіе и настоящіе воспитанники Морского Корпуса, отъ старшаго адмирала до младшаго кадета. Въ первый годъ огромное количество обѣдавшихъ размѣстили во рву форта. Стѣны были разукрашены различными морскими эмблемами, которыя долго потомъ противились дѣйствію дождей и вѣтровъ. . .

Вечеромъ — балъ. Танцовали у насъ, въ Африкѣ, вообще много, это понятно: было много молодежи. Танцовали преимущественно наши старые, русскіе танцы и, по правдѣ сказать, они казались разнообразнѣе нынѣшняго «хожденія». Вотъ — веселый краковьякъ, вотъ игривая разновидность архаической польки, а вотъ и мазурка — неудержимый бѣгъ впередъ, экстатическій и дѣйствительно захватывающій, и рядомъ — мечтательные, грустные и сентиментальные вальсы, которые такъ хорошо танцуютъ русскіе и не умѣютъ танцовать французы, «призывные, пѣвучіе, слегка обвѣянные мечтой». Я любилъ иногда уходить изъ залы и слушать издали тоскливые звуки какихъ-нибудь «Опавшихъ листьевъ» и смотрѣть издали въ окна, гдѣ кружатся пары и гдѣ происходитъ будто не легкомысленное занятіе, не забава, а что-то глубокое, мистическое, открывающееся въ танцѣ; а улица немножко контрастируетъ, охолаживаетъ. Тамъ — бредъ, мечта, увлеченіе, безуміе, круженіе, а здѣсь — отдыхъ («воды напиться!»), отрезвленіе, пробужденіе...

Праздники рѣдко проходятъ гладко — всегда что-нибудь нарушитъ общую гармонію. Жаль. . . Надо беречь чистоту этихъ переживаній — въ нихъ есть испытанное вѣками, воспитательное значеніе. . .

ЦЕРКОВЬ.

Памяти о. Георгія Спасскаго.

Впервые это было на «Алексѣевѣ»... Грузный, грязный, завшивѣвшій, онъ медленно уходилъ отъ родныхъ береговъ, слабо управляясь при маломъ ходѣ и кружась въ морѣ. Оставшаяся земля была черной и безмолвной — только мигали огни и небо полосовалось отблесками зловѣщихъ пожаровъ; мятежная земля — она не знала покою: ночью — тревога ожиданья жуткаго дня-загадки, а днемъ — надо бѣжать, узнавать, смотрѣть, искать. Съ сѣвера шла волна, силу разрушенья которой всѣ ждали, но не могли предотвратить. Кажется, легче броситься внизъ головой, въ воду, въ пропасть, не дожидаясь, когда взмоется эта волна и разнесетъ, какъ щепки...

А мы на палубѣ огромнаго корабля обрѣли твердую землю. Мы не знали, въ какомъ состояніи находился онъ въ смыслѣ хода и огня, но у насъ былъ свой глазомѣръ — пусть не всѣ башни послушны своему механизму, но броня непроницаема, палуба черна отъ угля и весь корабль дрожитъ, труба дымитъ, тенькаютъ звонки, машина работаетъ...

Днемъ люди читали газеты, передавали новости, судили, рядили, заряжались местью, бѣгали съ чайниками за горячей водой, устраивались на ночлегъ, ссорились изъ-за коекъ и все дѣлали особенно энергично и настой-

чиво, какъ будто бы этой суетливостью хотѣли заглушить и задавить то, что исходило изъ глазъ, когда человѣкъ замолкалъ, задумывался, устремлялъ куда-то глаза, и вдругъ рука дѣлала не то движеніе, ложка не попадала въ стаканъ, ноги дѣлали лишніе шаги...

Къ вечеру устроились, разложились, распаковались, внѣшне успокоились. Каждый нашелъ себѣ мѣсто на ночь... Понемногу стихалъ человѣчій шумъ. Меньше бѣготни по палубѣ. Слышнѣе всплески моря... За винтомъ вода свѣтилась...

И вотъ тутъ пришло ужасное и невыносимое... Тяжесть собственнаго освобожденія, ощущеніе жизни, которой ничто не угрожаетъ, но пустой: ее не заполнишь мелочами, ни разговорами о макаронахъ къ ужину, ни партіей въ шахматы въ каютъ-компаніи... Только бы не думать.....Уснуть бы, да негдѣ. Вѣтеръ пробирается къ лежачему. Холодно... Сажусь среди горъ консервныхъ коробокъ. Дремлю, кутаясь въ мѣховой воротникъ. Ночью то и дѣло приходятъ люди и, крадучись, растаскиваютъ коробки... А нельзя не думать... Впереди — теплыя моря, невиданныя страны. О нихъ мечтаешь, и краски яркія солнечныя, веселыя... но холодныя, плоскія, — настоящая олеографія, пошлая, гладкая поверхность... А заглянешь назадъ, тамъ все теплота, запахъ и жизнь — объ этомъ прошломъ можно горевать, тосковать, рвать волосы при этомъ, не дыша сжимая зубы, — но не мечтать о немъ — прошлое съ будущимъ не свяжешь... Думы—отрава... Ихъ не было тамъ, на берегу, когда были опасности и нерѣдко смерть смотрѣла въ глаза, но рядомъ были заботы, борьба, напряженіе собственнаго выбора, движеніе... А здѣсь — безполезная безопасность, сознаніе, что тебя везутъ и захватывающая полная безпомощность...

...На бакѣ, недалеко отъ гальюна, сбоку, въ невзрачномъ мѣстѣ — церковь. Маленькая, какъ будто недодѣ-

ланная, съ росписью. Всенощная или какое другое богослуженіе — не помню. Электрическія лампы. Служитъ еп. Веніаминъ со старенькимъ священникомъ, красиво и просто. Архіерейское облаченіе слишкомъ пышно для этой церкви. Поетъ хоръ нестройно и невнятно—большинство пѣвчихъ не знаетъ словъ... Церковь полна разношерстной толпой — и женщины, и мужчины. Зеленыя шинели и френчи. Все идетъ не хитро, по походному, на спѣхъ, какъ телѣжка по кочкамъ скачетъ, но... такъ хочется молиться, такъ жадно вслушиваешься въ обрывки словъ, и какъ эти слова — «о недугующихъ и страждущихъ», «миромъ Господу помолимся», «Пресвятая Богородица, спаси насъ» — волнуютъ, перехватываютъ горло, слезы текутъ ручьями и не стыдно ихъ...

* *
*

Стоимъ на рейдѣ въ Бизертѣ. «Кронштадтъ» набитъ биткомъ. Виденъ городъ съ предмѣстьями, загородными виллами. Сидимъ въ карантинѣ, узники, невольники... Декабрь, а солнце свѣтитъ, какъ лѣтомъ, синѣетъ море и, вмѣсто снѣга, яркая зелень блеститъ. На «Кронштадтѣ» — встрѣтили Рождество. И когда въ корабельной церкви, у всенощной, запѣли: «Рождество твое, Христе Боже нашъ!», то у всѣхъ замигали рѣсницы и захватило духъ. Нашу страну вспомнили, дѣтство, славельщиковъ... И все это покрыто искристымъ снѣгомъ! Онъ вездѣ — и въ поляхъ, на деревьяхъ, и на открыткахъ, и на ангелочкахъ въ магазинныхъ окнахъ, все Рождество — въ снѣгу. Сѣверный, ледяной праздникъ, когда огни горятъ на елкахъ, среди огромныхъ сугробовъ. Кажется, что здѣсь, въ зимнюю стужу Христосъ родился. Было холодно, вызвѣздѣло, потрескивалъ морозъ, отъ овецъ шелъ паръ... «Слава въ вышнихъ Богу»!...

Наконецъ, пришелъ нашъ чередъ. Объявили, что свезутъ на берегъ. Посадили на катеръ, повезли въ Ферривилль, спустили на землю, погнали въ баню, въ госпитальные бараки. Одѣли, согрѣли, накормили. Иди, куда велятъ, ѣшь, что даютъ. «Мы, какъ осенніе листья», — сказалъ о. Георгій на молебнѣ, на госпитальномъ дворѣ, среди непривычныхъ зданій, передъ отъѣздомъ въ Джебель-Кебиръ. Когда мы пѣли наши печальныя церковныя пѣсни, въ окна смотрѣли на насъ бородатые французы-офицеры, внимательно разсматривая, будто стараясь разгадать наши молитвы. . .

Церковь сдѣлалась составною частью Морского корпуса и церковная жизнь вошла существеннымъ элементомъ въ нашъ русскій африканскій бытъ. Къ ней привыкли и съ ней свыклись всѣ, не только одни православные. Вспоминая наши многочисленныя церковныя службы, можно сказать съ увѣренностью, что церковь вносила какую-то умиротворяющую регулярность въ нашъ годовой служебный обиходъ, объединяла, давала много сладкихъ минутъ своимъ утѣшеніемъ и красотой.

Наша церковь строилась общими усиліями. Въ глубинѣ темнаго коридора, подъ землянымъ валомъ, въ самомъ дальнемъ казематѣ, слабо освѣщаемомъ узкими абмбразурами оконъ. Иконостасъ былъ взятъ съ эскадры. Плащаница, вѣнцы, хоругви, иконы дѣлались мѣстными художниками. Ризы и церковныя облаченія шили дамы. Каждое новое достиженіе въ этомъ отношеніи было предметомъ общаго вниманія и составляло гордость всѣхъ. На праздникахъ ходили въ поля за зеленью и цвѣтами... У праваго клироса, въ особомъ кіотѣ, стояла наша мѣстная икона Богородицы «Радость страннымъ»; она была написана въ Сфаятѣ и являлась религіознымъ символомъ утѣшенія странниковъ. Предъ ней всегда горѣла лампадка. . .

Хоръ былъ предметомъ особаго вниманія. Въ своей организаціи онъ пережилъ нѣсколько стадій, пока, наконецъ, не попалъ въ руки одного одареннаго регента, который и поставилъ его на прочную высоту. Оказалась и нотная библіотека, подобранная съ большимъ вкусомъ, и любители церковнаго пѣнія могли услышать здѣсь, помимо старыхъ напѣвовъ, и итальянщину, въ родѣ «покаянія» Веделя и высокую и глубокую музыку Гречанинова, Архангельскаго, Чеснокова и др. Спѣвки происходили у всѣхъ на глазахъ, въ ихъ закулисную сторону заглядывали и мы, и смѣялись, когда неопытная пѣвчая задавала регенту вопросъ. «А какую мы завтра будемъ пѣть ижехерувимскую?»... Регентъ старался дисциплинировать хоръ и новичкамъ сообщить извѣстныя профессіональныя качества. — Господа, будьте внимательны, — стучалъ онъ своимъ закорузлымъ пальцемъ по столу. — «И сущимъ во гробѣхъ живо-отъ даровавъ». Помните: на «живо-о-отъ» два удара.....А вы торопитесь...

* *

*

Вѣруете-ли вы? Это первый вопросъ человѣку о церкви. Съ «вѣрую» начинаются и многія молитвы. Мнѣ всегда казалось, что на этотъ, будто непремѣнный, вопросъ — трудно отвѣтить. Легко сказать — «вѣрую» разомъ, огульно, напередъ, лишь бы отказаться отъ цѣпкихъ вопросовъ, чтобы не думать, не разсуждать, не мучиться. Страшное слово: вѣдь догматическая сторона всякой религіи — уже философія, имѣющая свою исторію въ прошломъ и свое развитіе въ будущемъ. По чистой совѣсти — не знаю, вѣрю ли я во все то, что исповѣдаю механически, чужими словами, потому что въ нѣкоторыхъ случаяхъ своихъ словъ нѣтъ.....«Помоги моему невѣрію, Господи!»....Но на вопросъ, религіозенъ ли

я всегда отвѣчу утвердительно, и по моему, съ этого отвѣта начинается церковь... Грѣшу ли я и кощунствую, но я Бога въ себѣ чувствую непрестанно и люблю Его, и когда думаю о Немъ, то какъ будто вдумываюсь въ себя. Я не скрою, что ощущеніе Его мнѣ дороже Его постиженія. Я особенно явственно слышу Бога въ музыкѣ, этомъ исключительномъ изъ искусствъ. Вотъ почему для меня музыка не развлеченіе, не удовольствіе въ обычномъ, иногда совершенно пошломъ, смыслѣ. Она для меня культъ. Вотъ почему я совершенно не представляю, какъ можно слушать, напр., квартетъ Бетховена или симфонію Чайковскаго и лущить сѣмечки или разговаривать съ сосѣдомъ одновременно, какъ нельзя этого представить себѣ въ церкви. Для меня концертный залъ — храмъ, мѣсто молитвы и очищенія.

Я люблю молиться. Люблю чувствовать Бога въ церкви, въ привычномъ съ дѣтства полумракѣ куполовъ, мерцаніи свѣчей и во всемъ церковно-календарномъ обиходѣ, невыразимой красотѣ церковнаго богослуженія, люблю ея внѣшнюю сторону, украшенную: вѣдь церковь — храмъ, театръ, подмостки, амвонъ — концертная эстрада, гдѣ разыгрывается мистерія, литургія...

Эта украшенность церкви была у насъ въ Африкѣ. Хорошо служилъ о. Георгій, красиво и чинно. Можетъ быть, его манера читать молитвы, дѣлать возгласы и проч. гдѣ-нибудь въ Москвѣ, въ XVII вѣкѣ, вызвала бы осужденіе, но наше время сильно отошло отъ каноновъ Московской Руси, оно требуетъ и въ богослуженіи новыхъ формъ. Что если бы во времена Никона попробовали въ Успенскомъ соборѣ спѣть «Вѣрую» Чайковскаго!!. Что бы тамъ поднялось!... Хорошо служилъ о. Георгій и хорошо говорилъ проповѣди. Едва ли не самое важное въ рѣчахъ церковныхъ ораторовъ — чувство мѣры и стройности построенія. Если по части послѣдняго существуютъ хріи, то что касается перваго, —

обычный грѣхъ — расплывчатость, вода. У о. Георгія не было воды, оттого, можетъ быть, и проповѣди его не утомляли, а производили сильное впечатлѣніе. Много ихъ сказалъ за это время о. Георгій, между прочимъ, цѣлый курсъ по исторіи церковныхъ каноновъ, а также комментарій къ службамъ. Для большинства это было совсѣмъ ново, приближало къ богослуженію и дѣлало службу особенно осмысленной...

Многимъ только въ Сфаятѣ пришлось ознакомиться со всѣми подробностями церковнаго богослуженія, съ духовнымъ музыкальнымъ репертуаромъ, а также ощущутить всю специфическую прелесть праздниковъ. Въ христіанскихъ праздникахъ есть нѣчто радостное и очищающее — мы ихъ любимъ съ дѣтства. Они встрѣчаются церковной службой, и эти минуты стоянія въ церкви и успокаиваютъ нервы, и отвлекаютъ отъ будничной прозы. Вспомнить только несравненную по красотѣ, драматизму и по воспитательной подготовкѣ Страстную недѣлю. Медленный звонъ большого колокола. Продолжительное и монотонное чтеніе въ церкви, поклонныя молитвы, наивная, обрусѣлая мелодія «Да исправится» и проч. А какой торжественный моментъ, когда на всенощной передъ раскрытыми царскими вратами раздается вдругъ громкое и потрясающее: «Чертогъ твой, Спасе, вижу я украшенный!»... А служба въ Великій Четвергъ... Слово за словомъ проходитъ трагедія Голгоѳы. Нужно здѣсь хорошо и внятно читать евангелія. Въ первомъ раскрывается вся философія этого момента, затѣмъ проходятъ картины и тайны этой ночи въ Геѳсиманскомъ саду, и колоколъ мѣрно отсчитываетъ время, близящееся къ развязкѣ...

Гулкимъ коридоромъ мы идемъ къ выходу черезъ рвъ. Въ ворота форта свѣтятся звѣзды и огни Бизерты. Ночь темная. Когда бываетъ вѣтеръ, то онъ отчаяннымъ сквознякомъ тушитъ наши свѣчи, тогда надежда только

на фонарикъ; а въ тихую ночь наши огоньки тянутся по всему склону до самаго Сфаята, и въ этомъ медленномъ и осторожномъ движенiи идущихъ съ церковной службы людей, у которыхъ въ ушахъ еще звучитъ трогательный напѣвъ: «слава долготерпѣнiю твоему, Господи», и которые все вниманiе сосредоточили на томъ, чтобы защитить этотъ слабый огонекъ оттуда и донести его бережно домой — есть высокая прелесть...

Пасхальная ночь. Поднимаемся въ высоту, по красивѣйшей дорогѣ. Знакомые виды на каналъ съ огнями судовъ, иногда по ту сторону канала, на перевалахъ къ Тунису, видны одинокiе костры... Рѣзкiй поворотъ на лѣво — и на валу форта горитъ крестъ. Онъ далеко виденъ на черномъ фонѣ неба. Пахнетъ травами, свѣжими ёлками и моремъ...

Очень красивы были крестные ходы. Обходили весь фортъ по излучинамъ широкаго, глубокаго, камнемъ обложеннаго рва. При выходѣ изъ внутренняго двора стоятъ кадеты съ оркестромъ. Ровъ освѣщался плошками, факелами, облитыми керосиномъ; тѣни переплетались по стѣнамъ, линiи ложились рѣзко на темнотѣ — картина фантастическая... Подходимъ къ воротамъ, хоръ входитъ подъ каменные своды и сильнѣе звучатъ голоса. Иконы останавливаются у входа въ церковь. Начинается изумительный моментъ: реплики священника, котораго перебиваетъ хоръ — «Да воскреснетъ Богъ... и расточатся врази его... да бѣгутъ отъ лица его всѣ ненавидящiе его... яко таетъ воскъ отъ лица огня...» Долгожданное «Христосъ Воскресъ» подхватывается хоромъ и какъ бѣгующiя волны раздаются его всплески, неудержимые, захлебывающiеся, и такъ во все время этой, дивной по красотѣ и неистовству ликованiя, заутрени, и когда среди сплошной пляски, цвѣтовъ, словъ, звуковъ раздается привѣтственное: «Христосъ Воскресъ», то

нельзя себѣ представить, чтобы въ это время можно было промолчать въ отвѣтъ...

Возвращались мы изъ церкви длинной вереницей, обгоняя другъ друга, чуть-чуть усталые, но бодрые и веселые.

Такъ, въ нашемъ русскомъ уголкѣ въ Африкѣ церковь вростала въ бытъ. Съ ней были связаны и наши радости, она же утѣшала насъ, когда видѣла наши слезы. Вотъ почему, когда мы вспоминаемъ нашу Африку, мы вспоминаемъ и темный коридоръ и большую комнату съ узкими амбразурами. Тамъ, надъ алтаремъ былъ нарисованъ голубь. Церковь разобрали, иконостасъ сложили, а голубь остался... Можетъ-быть, онъ цѣлъ и до сихъ поръ...

О ВѢЧНОМЪ ПОКОѢ.

Если идти отъ Сфаята въ Бизерту луговой дорогой, т.-е. отъ каменоломни повернуть вправо, мимо стрѣльбища, то, подходя къ городской стѣнѣ, увидимъ часовенку, въ которой стоятъ большіе образа Спасителя и Богородицы, очень выразительные, писанные масляными красками, совсѣмъ не католическаго письма. За часовенкой — сербское кладбище, печальный памятникъ недавняго лихолѣтья. Послѣ разгрома, сербскія войска частью эвакуировались въ Бизерту — въ нѣкоторомъ родѣ онѣ были нашими предшественниками, значитъ, — и здѣсь, по лагерямъ, въ тоскѣ по родинѣ и съ болью военной неудачи умирали отъ полученныхъ ранъ. На кладбищѣ они, какъ на парадѣ — длинная шеренга крестовъ, однообразныхъ, похожихъ одинъ на другой, со стертыми безцвѣтными надписями. У нѣкоторыхъ офицеровъ могилы были убраны и украшены, но, видимо, давно уже не касались ихъ заботливыя руки — почва ксе-гдѣ треснула, земля оползаетъ, могильныя плиты поломались. . .

Въ глубинѣ кладбища, у самой стѣны — «русскій уголокъ». Скоро мы хорошо изучили эту дорогу; кого приносили сюда подъ тягостные напѣвы хора, кого и подъ звуки похороннаго марша оркестра. Перекидывались фразами, штампованными, опускали въ могилу, засыпали и разбредались по дорожкамъ къ выходу.

И изъ нашихъ рядовъ смерть вырывала свои жертвы — въ Сфаятѣ это было особенно тягостно, потому что тамъ, въ повседневной работѣ люди сживались, привыкали другъ къ другу.

Долго и мучительно умирала жена адмирала, съ каждымъ днемъ она худѣла, слабѣла и становилась тѣнью, и было непередаваемо тяжело сознавать обреченность человѣка и его скорый уходъ на вѣчный покой...

Особенно подавляли неожиданныя заболѣванія. Жена врача, Анна Петровна, захворала, — горло, сердце, тяжело дышать, — черезъ два дня вечеромъ увезли въ Бизерту въ госпиталь, а утромъ Николай Македоновичъ вернулся на мотоциклеткѣ и мгновенно, какъ по воздуху, стала извѣстна роковая вѣсть. «Всю дорогу отъ Бизерты, — говорилъ онъ потомъ, — я думалъ о томъ, какъ я *ей* объ этомъ скажу»... а мы видѣли — маленькая Шурёнка сидѣла на колѣняхъ у отца, ласкала его, утѣшала и говорила, что не нужно плакать, что мамѣ теперь хорошо...

Хоронили въ облачный день, и небо роняло рѣдкія капли дождя...

Возвращаясь съ этихъ похоронъ, Коля П., только что кончившій корпусъ кадетъ, схватилъ гриппозное воспаленіе легкихъ. Хрупкій организмъ не справился съ болѣзнью. Задыхаясь, П. просилъ товарищей не возлагать вѣнковъ. Черезъ нѣсколько дней онъ лежалъ въ церкви — мертвый, какъ живой. Въ ту же ночь пріѣхала изъ госпиталя большая фура-автомобиль и быстро-быстро захлопнулись дверцы, моторъ загудѣлъ, двинулся. Всѣ обнажили головы...

Черкесъ-татаринъ съ Кубани, Хаджиметъ, умиралъ отъ чахотки. Онъ таялъ, какъ свѣчка, по ночамъ бредилъ и говорилъ про родину, про ея горы и что какой тамъ хорошій воздухъ... Хаджиметъ былъ георгіевскій кавалеръ и адмиралъ устроилъ ему торжественныя похо-

роны съ военными почестями. На пути къ магометанскому кладбищу, въ арабской части Бизерты, были поражены процессіей въ сопровожденіи оркестра. Арабы подходили, брали тѣло на носилкахъ, часто смѣняясь — по закону Мухамеда за это отпускаются грѣхи. . .

Кадетъ Ж., безнадежно болѣвшій сердцемъ, жилъ въ Сфаятѣ, дожидаясь конца, который пришелъ, и Ж. тѣмъ же порядкомъ, какъ и П., отправился въ «русскій уголокъ» на кладбищѣ.

Тамъ же легла жена одного рабочаго въ Сфаятѣ, полька, умершая отъ тифа.

Тамъ же лежитъ и «дѣдъ» полковникъ Куфтинъ, мечтавшій умереть въ родной Елабугѣ...

А жизнь шла своимъ чередомъ и у кладбищенскихъ стѣнъ по прежнему пахло прогорклымъ масломъ, кислымъ виномъ и просто маленькимъ африканскимъ арабско-французскимъ городкомъ. . .

Но вотъ, что я помню. Смерть тяготитъ и сковываетъ волю — никуда отъ нея не уйдешь, вотъ она гдѣ-то совсѣмъ близко, но когда, забросавши могилу послѣдними комьями земли, мы уходили съ кладбища, я чувствовалъ новое возвращеніе къ жизни: по мѣрѣ того, какъ я подходилъ къ воротамъ, шелъ къ фургонамъ, которые высылались для насъ, или направлялся пѣшкомъ, я начиналъ вбирать всею грудью этотъ воздухъ живой земли, и ну право, словно впервые, замѣчалъ, какъ красиво растянулись мавританскія зданія казармъ, какъ пріятны очертанія горъ, какъ блеститъ на солнцѣ синее море, и какой я самъ счастливый, что могу жить среди этой природы, дышать, смѣяться, играть. . . Все было мило, когда я подходилъ къ своему скромному жилищу на этой землѣ. . .

АДМИРАЛЪ.

Впервые я увидѣлъ в.-адм. А. М. Герасимова на «Ген. Алексѣевѣ» въ Константинополѣ, Морской Корпусъ выстроился на палубѣ для встрѣчи только что назначеннаго новаго директора. Преподаватели, штатскіе служащіе, какъ полагается, стояли на правомъ флангѣ. По трапу поднялся высокій старикъ съ острыми глазами, въ пенснэ, въ англійскомъ френчѣ и кожаномъ поясѣ. Поздоровавшись, послѣ долгаго обхода, адмиралъ, обращаясь къ воспитанникамъ, сказалъ коротенькую рѣчь, въ которой съ оттѣнкомъ чуть замѣтнаго, грубоватаго юмора, припоминая разговоръ съ какимъ-то нѣмцемъ, отмѣтилъ значеніе «sitzfleisch», какъ символъ усидчивости, постоянства. Это была въ нѣкоторомъ родѣ программная рѣчь. Человѣкъ большого административнаго опыта, бывшій комендантъ крѣпости Петра Великаго въ Ревелѣ, в.-адм. Герасимовъ явился въ качествѣ директора военно-учебнаго заведенія въ непривычной для себя роли. Качества, которыя онъ обнаружилъ на этомъ мѣстѣ, въ обстановкѣ очень трудной, щекотливой и отвѣтственной, создали ему во французскихъ административныхъ кругахъ Бизерты уваженіе и большой авторитетъ, которыми онъ пользовался до конца своихъ дней.

Внѣшность у адмирала была суровая. Угрюмый, грубоватый по натурѣ, большой самодуръ по служебнымъ привычкамъ, по виду онъ не былъ привѣтливъ, и под-

ходили къ нему всегда съ опаской. Адмиралъ былъ своенравенъ, и, тѣмъ не менѣе, мнѣ, напр., служить съ нимъ было легко, несмотря на то, что взгляды наши на большинство педагогическихъ и политическихъ вопросовъ во многомъ не сходились. Съ нимъ всегда можно было договориться — онъ умѣлъ смотрѣть въ корень вещей и, не всегда терпѣливо, выслушивать чужое мнѣніе, и разъ договорившись, на его слова можно было положиться, какъ на каменную гору. Я не морякъ и не зналъ адм. Герасимова по его прежней службѣ, но въ Корпусѣ, въ очень сложныхъ условіяхъ нашей зарубежной жизни, я видѣлъ въ немъ человѣка не только чуждаго общей рутинѣ, но умѣвшаго, при всемъ своемъ консерватизмѣ, улавливать и чувствовать неумолимую логику новизны. «Не течетъ рѣка обратно», — сказалъ онъ какъ-то въ учебно-воспитательномъ совѣтѣ при обсужденіи одного анахроническаго предложенія. Рѣзкій, прямолинейный и пародоксальный въ своихъ сужденіяхъ наединѣ съ кѣмъ-либо въ тѣсномъ кругу, въ отвѣтственныхъ выступленіяхъ онъ былъ очень остороженъ и въ рѣшеніяхъ обнаруживалъ подлинную начальственную мудрость. Большой умъ и кристальная честность не позволяли ему выступать пристрастно, онъ всегда старался быть принципіальнымъ и жить такъ, чтобы ничто изъ того потока упрековъ, которыми забрасывали въ то время въ русской средѣ всякое начальство, къ нему не пристало. Теперь когда на второмъ десяткѣ лѣтъ нашего заграничнаго безправнаго блужданія по чужимъ землямъ мы привыкли ко всякому труду и, умѣя дѣлать выводы изъ нашего положенія, не дивуемся, какъ бывшіе генералъ или сенаторъ метутъ улицы, становятся извозчиками или малярами, многіе не повѣрятъ, что въ тѣ времена въ русскихъ лагеряхъ еще были старые предразсудки, перешагивать черезъ которые было дѣломъ не легкимъ и ставилось въ особую заслугу. Почитать толь-

ке корреспонденціи въ старыхъ зарубежныхъ газетахъ — сколько удивленія и умиленія: «Смотрите — вице-губернаторъ или генеральша сами себѣ бѣлье стираютъ»! Однажды молодые офицеры обратились къ директору корпуса съ просьбой назначить для нуждъ ихъ каютъ-компаніи вѣстового. Адмиралъ Герасимовъ на это отвѣтилъ, что если онъ самъ полы моетъ въ своей комнатѣ, то почему же офицеры не могутъ сами себѣ посуду мыть. Старикъ адмиралъ, самъ себѣ стирая бѣлье и убирая свою комнату, дѣлалъ это просто, безъ всякой аффектаціи. Адмиралъ умѣлъ дѣлать выводы изъ создавшагося положенія и принималъ житейскія и личныя невзгоды весьма мужественно. Указавъ разъ на одну изъ аномалій въ нашей жизни, лично его глубоко обидѣвшую, онъ сказалъ: «А я вѣрю, что какой-нибудь архангелъ Михаилъ все это замѣчаетъ и записываетъ въ свою книжечку»... Увѣренность, что нужно жить такъ, чтобы всегда быть готовымъ къ отвѣту и въ настоящемъ и въ будущемъ, адм. Герасимова никогда не покидала... Болѣе всего онъ боялся ѣсть даромъ хлѣбъ, и больной, доживая свои послѣдніе дни въ Бизертѣ, работая у французовъ въ качествѣ ученаго артиллериста по укрѣпленію бизертскаго района, былъ по-прежнему очень щепетиленъ въ оцѣнкѣ своихъ трудовъ.

При всѣхъ своихъ давнихъ властныхъ привычкахъ, онъ, въ то же время, былъ очень застѣнчивъ и скроменъ, и когда находился въ благодушномъ настроеніи и смѣялся, — суровое лицо его смягчалось, дѣлалось привлекательнымъ и становились привѣтливыми его лучистые глаза.

Въ день его сорокалѣтнаго юбилея, который очень тепло праздновался въ Корпусѣ, въ оцѣнкѣ его дѣятельности сошлись люди разныхъ теченій. Мною было написано стихотвореніе, которое (по разнымъ мотивамъ) на юбилейномъ обѣдѣ было прочтено моимъ коллегой

Ал. Зах. И. Я не могу, конечно, не помѣстить его здѣсь, хотя оно уже было напечатано въ нѣсколькихъ изданіяхъ.

СТАРЫЙ РУЛЕВОЙ.

Когда грохочетъ громъ и рвутся съ ревомъ снасти
И, можетъ быть, въ дали грядетъ девятый валъ, —
Отрадно знать, что въ этотъ мигъ напасти
Не спитъ въ каютѣ адмиралъ.

И мы, пловцы, разметанные шкваломъ,
Усталые плывемъ въ моряхъ земли чужой.
Но вѣримъ мы — не выпуститъ штурвала
Изъ рукъ своихъ умѣлый рулевой...

Пройдутъ года и пронесутся бури.
Увидимъ мы опять родной земли поля,
Лѣса, снѣга, своихъ морей лазури,
Отважный взлетъ родного корабля...

И въ призракахъ минувшаго былого
Мы вспомнимъ Африку, Сфаятъ, Джебель-Кебиръ,
Забудется, что было въ нихъ плохого,
Запомнится лишь добрый миръ.

Припомнятся намъ дни, и вечера, и ночи,
И онъ, привѣтливый, средь разныхъ лицъ и встрѣчъ,
Въ кабинкѣ огонекъ его, горящій до полуночи,
И юморомъ посыпанная рѣчь.

Онъ съ нами здѣсь несетъ изгнанья бремя,
Ведя корабль среди подводныхъ скалъ,
Самъ твердый, какъ скала — и мягкій въ то же время,—
Нашъ старый, добрый адмиралъ.

Стихотвореніе это и въ Корпусѣ и на эскадрѣ ходило по рукамъ, переписывалось, и я отношу это, конечно, отнюдь не къ его литературнымъ достоинствамъ, а къ тому, что портретъ адмирала Герасимова въ немъ дѣйствительно вѣренъ, и я писалъ его совершенно искренно.

Старый адмиралъ... Какъ было трудно ему съ его характеромъ временами ломать себя, быть сдержаннымъ, отмѣнно политичнымъ, и на старости лѣтъ взять книжку и обратиться въ преподавателя математики въ кадетскихъ классахъ. Не знаю, доставляло ли ему это преподаваніе удовлетвореніе, но готовился онъ къ своимъ урокамъ тщательно, какъ добросовѣстный начинающій преподаватель. Надо сказать, что испытанія на этомъ новомъ для него поприщѣ были для него очень серьезны. Ученики, какъ всѣ ученики, народъ ловкій и жестокій. Адмиралъ частенько попадался на разставленныя ими удочки. Чего только они не выстраивали, пользуясь неопытностью въ этомъ отношеніи и небольшой глухотой адмиралъ Герасимовъ фигурируетъ въ нихъ въ раздывался , а о многомъ даже и не подозрѣвалъ. Одинъ случай былъ особенно потрясающимъ. Было назначено адмираломъ въ его классѣ что-то въ родѣ репетиціи, для вывода отмѣтокъ. Кадеты выдумали слѣдующую штуку. Подъ столъ, покрытый, какъ всегда до полу сукномъ, посадили хорошаго ученика. Столъ стоялъ у доски. Адмиралъ, спрашивая, имѣлъ обыкновеніе ходить по залу, и какъ только онъ отходилъ въ глубину залы, подсказка изъ подъ стола шла на полный ходъ. Трудно себѣ представить, что было бы, если бы адмиралъ обнаружилъ всю эту хитрую механику!..

Когда я мысленно пробѣгаю африканскія картины, адмиралъ Герасимовъ фигурируетъ въ нихъ въ разной обстановкѣ. И вотъ одна изъ нихъ, типичная для него послѣдняго періода. Лѣтомъ, послѣ ужина, когда садится солнце за горы и наступаетъ умилительный въ

природѣ часъ, адмиралъ выходитъ изъ своего барака на прогулку, идетъ онъ быстро и уходитъ довольно далеко, особенно по надорской дорогѣ; адмиралъ любилъ гулять одинъ и далеко виднѣлась его бѣлая одинокая фигура. И по правдѣ — онъ былъ одинокимъ.

«ДѢДУШКА».

— А вотъ и нашъ дѣдушка, полковникъ Куфтинъ.

Меня познакомили съ военнымъ въ сѣрой шинели, человѣкомъ средняго роста, съ просѣдью. Это было въ первый же день моего появленія въ Морскомъ Корпусѣ на Сѣверной сторонѣ въ Севастополѣ.

— Позвольте. Я вспомнилъ, что когда я учился въ Самарской гимназіи у насъ былъ учитель гимнастики — поручикъ Куфтинъ, адъютантъ командующаго батальономъ. Оказалось, — онъ самый и есть.

Разговорились мы. Пріятныя бываютъ встрѣчи, — воскресаютъ года ушедшіе. Мы оказались связанными цѣпью воспоминаній. И потомъ, уже въ Африкѣ, намъ никогда не было скучно вдвоемъ — такъ о многомъ можно было говорить, вспоминая...

Въ Корпусѣ Куфтина всѣ звали «дѣдушкой», хотя по лѣтамъ онъ былъ не самый старый; на послѣднее обстоятельство онъ часто обращалъ вниманіе, но титулъ «дѣдушки» носилъ не безъ гордости.

У всѣхъ у насъ сохранилась въ памяти фигура этого коренастаго, крѣпко сложеннаго старика, который поражалъ всѣхъ насъ прежде всего своей кипучей энергіей и дѣятельностью. Чего только не зналъ полковникъ Куфтинъ и что только не умѣлъ дѣлать! Рѣзьбу по дереву, выжиганіе, бронзировку, никелировку и т. д. Умѣлъ шить сапоги и самъ себѣ въ Сафаятѣ шилъ раз-

личныя вещи, въ томъ числѣ пиджакъ и фартуки. Онъ оказался хорошимъ переплетчикомъ при библіотекѣ. Литографія своимъ успѣхомъ была обязана, главнымъ образомъ, ему.

У него была извѣстная профессіональная гордость. Онъ старался своей работѣ постепенно придавать долю вкуса и изящества. Тетрадки выходили съ обложками и виньетками. Каждый годъ онъ выпускалъ отрывные календари съ соотвѣтствующими рисунками (даже въ краскахъ) на картонкахъ, у меня часть ихъ сохранилась — документъ его литографской дѣятельности.

Служака онъ былъ отмѣнный — аккуратный, взыскательный и исполнительный. Въ его отдѣленіи приходилось работать по настоящему, въ потѣ лица, какъ, впрочемъ, работалъ и онъ самъ. Характеръ былъ у него не изъ легкихъ. Службистъ и формалистъ, онъ былъ неуклонно требователенъ къ подчиненнымъ. Съ годами, очевидно, у него развилась мелочность и придирчивость — отсюда, вѣроятно, и репутація его въ Корпусѣ — сварливаго и неуживчиваго...

Рано утромъ «дѣдушка» уже на ногахъ, умывается на воздухѣ, около своего барака, а потомъ съ засученными рукавами, въ фартукѣ работаетъ въ мастерской или литографіи. Своимъ сподручнымъ онъ поблажки не давалъ, но его побаивались всѣ и имѣли дѣло съ нимъ съ нѣкоторой опаской — наворчитъ «дѣдушка».

Библіотекаремъ онъ былъ скопидомнымъ, книгу жалѣлъ (лѣчить-то ихъ вѣдь ему приходилось прежде всего) и, по правдѣ сказать, давать читать не любилъ, т.-е. не то, что не любилъ, а въ каждомъ читателѣ видѣлъ библіотечнаго врага. Бывало, придешь къ нему въ библіотеку и осторожно подойдешь къ полкамъ съ книгами, и сейчасъ же слышишь гнѣвный окрикъ: «Пожалуйста, господа, руками не трогайте! Скажите, что надо, а сами... пожалуйста»!.. Его и прозвали: «не тронь книгу».

Онъ же завѣдывалъ выдачей всевозможныхъ писчихъ принадлежностей—тетрадей, карандашей, перьевъ. Порядокъ у «дѣда» при этомъ былъ замѣчательный — каждую выданную вещь онъ записывалъ. Было много курьезовъ. По своему характеру вещи беречь, онъ всегда старался подсунуть вещь похуже — бракованную тетрадку, карандашъ съ переломаннымъ графитомъ и т. д. Перо съ неразрѣзаннымъ носикомъ очень долго ходило по Корпусу, нѣсколько разъ возвращаясь къ «дѣду»... Можно представить себѣ, что дѣлалось съ нимъ, если кадетъ приносилъ растрепанную книгу — полковникъ свирѣпѣлъ и просилъ ротнаго о наложеніи на виновнаго наказанія, до ареста включительно.

При такомъ отношеніи къ книгамъ брать у него книги изъ библіотеки было сопряжено съ нѣкоторымъ умѣньемъ и ловкостью. Всегда выходило много исторій. Такъ напр., онъ считалъ баловствомъ, когда преподаватель забираетъ много книгъ для своей подготовки къ урокамъ и всегда съ особымъ злорадствомъ показывалъ неразрѣзанную книгу, возвращенную преподавателемъ въ общей кипѣ. Но все это мелочи. Къ слабостямъ привыкли, но за то можно было быть спокойнымъ, что у книжныхъ шкаповъ сидитъ надежный сторожъ.

Сварливый нравъ дѣдушки иногда принималъ крутыя и настойчивыя формы, онъ былъ послѣдователенъ и прямолинеенъ. Но случалось, что его негодованіе увлекало на борьбу съ вѣтреными мельницами. Такова исторія съ курами. Одно время въ Сфаятѣ на домашнее хозяйство потянуло чуть ли не каждую семью. И кроликовъ, и куръ расплодилось множество. Около квартиръ, сараевъ, за сосенками, возникали клѣтки, которыя были похожи на арабскія хижины и такъ же лѣпились къ постройкамъ, какъ тѣ къ горамъ. Даже самъ Корпусъ завелъ скотный дворъ. Но если кролики смирно сидѣли въ клѣткахъ, то куры ходили по всему Сфаяту свобод-

но, оставляя визитныя карточки и проч. Начались возмущенія и жалобы. Вопросъ осложнился бѣженскими условіями совмѣстной жизни и принялъ такіе размѣры, что о куриныхъ дѣлахъ стали говорить какъ о важномъ моментѣ дня, и дѣйствительно одно время онъ сдѣлался цѣлымъ вопросомъ нашей внутренней политики. Корпусъ раздѣлился на партіи, при чемъ въ одну вошли семейные обитатели, защищавшіе домашнее хозяйство съ его неудобствами и безпокойствомъ, а въ другую — смертельные ненавистники бродячихъ куръ, залѣзавшихъ въ плохо запиравшіяся кабинки и производившихъ безпорядокъ. Среди молодежи преобладали воинственныя настроенія, которыя приводили уже къ озорству, сворачиванію куриныхъ головъ и проч. Начались ссоры. Самымъ непримиримымъ курофобомъ оказался «дѣдъ»; чуть ли не отъ него исходилъ лозунгъ: «Смерть курамъ»! Когда стороны теряли равновѣсіе, происходило немало трагикомическихъ эпизодовъ. Однажды «дѣду» была доставлена басня (принадлежащая одному молодому автору) подъ заглавіемъ:

КУРИЦА, ПОТЕРЯВШАЯ СОВѢСТЬ.

Плелась однажды по Сфаятской улицѣ
Рябая маленькая курица.
Въ грязи тонули маленькія ножки.
Вокругъ колючки, камни и земля,
И ни единой хлѣбной крошки.
И, хохолкомъ тревожно шевеля,
Она, волнуясь, за уголъ зашла.
Въ баракѣ дверь полуоткрыта.
Въ глухой тоскѣ надежды скрытой
Она глядитъ изъ за угла.
Шагаютъ люди. Небо дождикъ сѣетъ.
Она трепещетъ, а войти не смѣетъ.
И вотъ, раскинувши куриными мозгами,

Она рѣшаетъ такъ:
«Что это за баракъ?
Вѣдь чѣмъ-то вкуснымъ пахнетъ за дверями,
Мнѣ даже этотъ запахъ милъ.
Давно меня хозяинъ не кормилъ.
А тамъ, о Боже, всюду крошки хлѣба
Разбросаны заботливой рукой!
Навѣрно праведное небо
Въ награду шлетъ за голодъ мой».
Такъ разсудивъ, она идетъ поспѣшно
Въ чужое помѣщенье (кто не грѣшенъ!),
А на дверяхъ плакатъ (ужасный видъ!)
Безъ всякихъ разсужденій и уклоновъ
Гласитъ:
«Здѣсь куры внѣ закона»!
Но курица его не понимаетъ:
Арабка, вѣдь, по-русски не читаетъ.

И вотъ
Она въ столовый залъ идетъ.
Оглядывается — никого, пустынно,
Она — на столъ, большой и длинный,
Тамъ крошки хлѣба, макароны, рисъ,
Листокъ капусты черезъ край повисъ,
Тарелки, баки, книги, чертежи,
Листы бумагъ, карандаши,
Тетрадь съ французскими словами,
Табакъ, погоны съ галунами,
И страшный физики чертежъ...
Да что! Всего не перечтешь!
У курицы рябой — веселый пиръ.
И вотъ, предавшись наслажденью,
Она кудахчетъ въ умиленьи.
И забываетъ цѣлый міръ...

А въ это время перешелъ порогъ
Сѣдой полковникъ Контрокуровъ,
И посмотрѣлъ онъ яростно и хмуро.
А курица со всѣхъ короткихъ ногъ
Пустилась отступать, разсыпала табакъ,
Кричитъ, несчастная, на весь баракъ;
Разорвала тетрадь, тарелку уронила,
Совсѣмъ ужъ выбилась изъ силъ,
Едва не выбила окошка,
Забыла въ паникѣ про сладкій рисъ и крошки,
Порхаетъ черезъ весь столовый залъ.
Полковникъ, между тѣмъ, такую рѣчь держалъ:

«Мадмуазель! Какой позоръ!
Вы забрались сюда, какъ мелкій воръ.
Какъ вы могли зайти въ чужое помѣщенье?
Вѣдь это преступленье!
Такъ потерять и нравственность, и стыдъ.
Ай, ай, какой ужасный видъ!
Такъ низко пасть, утратить совѣсть,
Все опрокидывать, сорить...
Печальна будетъ ваша повѣсть,
И я васъ не могу простить.

Да, наконецъ, вѣдь здѣсь — священный храмъ.
Молитвеннымъ должно быть настроенье.
О, тяжко, тяжко ваше прегрѣшенье!
Оно во вѣки не проститься вамъ.
Какой позоръ, о Боже мой!
Всѣ потеряли отдыхъ, сонъ, покой.
Въ осадномъ положеніи Сфаятъ.

А кто же виноватъ?
Не могутъ воспитать скотовъ!
Я самъ бы, кажется, готовъ
Заняться вашимъ воспитаньемъ.

Я счетъ утратилъ всѣмъ моимъ страданьямъ.
Но больше всѣхъ, конечно, виноватъ

Сфаятскій комендантъ.
Онъ долженъ доказать, что есть

У насъ и доблесть, и мундиръ, и воинская честь.
Такъ распустить Сфаятъ! Утратить дисциплину!

Онъ могъ бы повліять на умъ куриный,
Онъ долженъ запретить, онъ долженъ приказать
И, наконецъ, арестовать»...

А между тѣмъ, за дверью курофобы
Столпились шумною толпой;
Пришли кадеты съ пѣсней боевой.

А курица уже неслась голопомъ...

Начался бой. Летѣли камни, палки

Во слѣдъ безсовѣстной нахалкѣ...

Тутъ вождь остановился и сказалъ:
«Мы побѣдили, и столовый залъ
Очищенъ отъ враговъ. Походъ увѣнчанъ славой.
А чтобы не было и впредъ такого повторенья
Я требую: по воинскимъ уставамъ
Ее убить на мѣстѣ преступленья»!

Его слова (блаженная пора!)
Покрыло громкое ура...

До вечера шумѣли и кричали,
И только перья въ воздухѣ летали.

Въ концѣ концовъ, пришлось вмѣшаться самому адмиралу, который оказался рьянымъ курофобомъ. Черезъ нѣсколько дней былъ выпущенъ приказъ, который является очень характернымъ — тому юмористическому тону, къ которому любилъ прибѣгать иногда адмиралъ.

Приказъ

по Морскому Корпусу. Фортъ «Джебель Кебиръ»: Февраля 2 дня 1924 года № 22 Комендантъ лагеря Сфаята подалъ мнѣ нижеслѣдующій рапортъ:

«Ко мнѣ, какъ къ коменданту лагеря Сфаятъ со стороны нѣкоторыхъ жителей лагеря, имѣющихъ домашнюю птицу, поступаютъ жалобы на то, что въ лагерѣ идетъ безнаказанное избіеніе птицы, при чемъ это дѣлается лицами, неимѣющими собственнаго хозяйства, затѣмъ этотъ заразительный примѣръ передается и кадетамъ, и даже сейчасъ на дверяхъ столоваго зала сдѣлано мѣломъ объявленіе о томъ, что куры въ столовомъ залѣ — внѣ закона, и нарисованы двѣ кости крестъ на крестъ. Находя такую расправу съ частной собственностью явленіемъ совершенно ненормальнымъ и грозящимъ крупными нежелательными недоразумѣніями, прошу, Ваше Превосходительство, ограничить таковую своевольную расправу съ частной собственностью также денежнымъ штрафомъ, подобно тому, какъ брался штрафъ уже съ жителей за убытки, принесенные ихъ птицей. Капитанъ 2 ранга» (подпись).

Изъ этого рапорта я усматриваю, что комендантъ лагеря, вмѣсто того, чтобы стоять на точкѣ зрѣнія общественной пользы и порядка, сталъ полностью на точку зрѣнія владѣльцевъ необозримыхъ стадъ всякой скотины, расплодившихся въ Сфаятѣ, и при томъ еще на защиту своей точки зрѣнія притягиваютъ за уши принципъ святости частной собственности. Считаю необходимымъ разобраться въ этомъ вопросѣ подробно и разъ навсегда.

Владѣльцы куръ, утокъ и прочей скотины у меня разрѣшенія не спрашивали на разведеніе домашней птицы въ Сфаятѣ. Слѣдовательно, они развели ее на свой страхъ и рискъ. Если бы у меня было спрошено разрѣ-

шеніе держать въ Сфаятѣ куръ, утокъ, гусей и пр., то я непремѣнно поставилъ бы условіемъ, чтобы животныя эти содержались за соотвѣтствующими загражденіями, въ клѣткахъ или на привязяхъ, чтобы не причинять неудобства другимъ жителямъ Сфаята.

Вспоминаю исторію нашего поселенія въ Сфаятѣ. Мы сильно бѣдствовали, паекъ былъ недостаточный. Думалось, что дамы, имѣющія ребятъ, заведя двѣ-три курицы, будутъ въ состояніи подкормить своихъ ребятъ. По нашему всегдашнему благодушію, мы съ терпимостью относились къ десятку куръ, шляющихся по Сфаяту, тѣмъ болѣе, что при ихъ маломъ числѣ особеннаго безпокойства отъ нихъ не было.

Не то совершенно теперь. Полтора десятка куръ и цыплятъ обратились въ сотни. Совершенно постороннія корпусу лица, подъ фирмой служащихъ въ корпусѣ, занялись промышленнымъ разведеніемъ домашней птицы.

Прибывъ въ Сфаятъ въ крайней бѣдности съ коробками и баночками отъ консервовъ вмѣсто посуды для ѣды и питья, мы постепенно эволюціонируемъ — стараемся сдѣлать нашу жизнь культурнѣе. Заводимъ себѣ общія столовыя для ѣды, заводимъ постепенно посуду, скатерти и пр., но стада куръ и утокъ приводятъ стремленія къ нулю. Столы въ столовой зачастую покрыты пятнами отъ куринаго гуано, скамейки — также, и нерѣдкость видѣть воспитанника съ пятнами гуано на брюкахъ; даже въ церкви, въ столовой, даже на мѣстѣ, гдѣ собирается алтарь, бываютъ слѣды пребыванія куръ и, становясь на колѣни, во время молитвы, необходимо остерегаться, чтобы не попасть колѣномъ въ слѣды пребыванія куръ. Въ каютъ-кампаніи куры бродятъ по столу, по скатерти, бьютъ посуду, оставляя всюду свои слѣды. Невозможно пріоткрыть дверь или окно, чтобы провѣтрить комнату, или чтобы впустить лучъ для просушки ея, чтобы черезъ щель не забрались куры и не

оставили въ комнатѣ слѣды своего пребыванія. Къ сожалѣнію, слѣды пребыванія куръ подмывать, подтирать приходится не собственникамъ домашней птицы, а собственникамъ комнатъ. Полиція, окрестные арабы пристаютъ постоянно съ жалобами о выѣданіи этими стадами птицы посѣвовъ. Не говоря уже о шумѣ и гомонѣ, при которомъ человѣку занимающемуся невозможно сосредоточить на чемъ-нибудь вниманіе, а больному — спокойно уснуть. Вотъ, примѣрно, картина настоящаго положенія вещей. Факты появленія карикатуръ на дверяхъ столовой, бѣганье чиновъ генеральскаго и полковничьяго званія съ палками за курами, чтобы отогнать ихъ отъ дверей въ свои комнаты, я считаю началомъ совершенно естественнаго, пока теоретическаго, протеста противъ безцеремонности собственниковъ домашней птицы, не стѣсняющихся ради своихъ меркантильныхъ расчетовъ портить жизнь всѣмъ остальнымъ жителямъ Сфаята. Наступаетъ весна, стада домашней скотины будутъ плодиться и размножаться, но невѣроятно, что стада эти удесятерятся и покроютъ живымъ слоемъ всю площадь Сфаята. Полагаю, что къ этому времени люди, выведенные изъ терпѣнія этой египетской казнью, могутъ отъ теоретическихъ протестовъ перейти къ активнымъ дѣйствіямъ и «безсознательное избіеніе» птицы, представляющейся лишь пока метафорой въ рапортѣ коменданта (такъ какъ знаю лишь одинъ фактъ убійства курицы копытомъ лошади, но и то при защитѣ священнаго права собственности овса отъ расхищенія курицами), можетъ обратиться изъ метафоры въ дѣйствительность.

Считаю своевременнымъ вступиться въ это дѣло; понимая, что въ одинъ день невозможно ликвидировать то, что нарощено въ три года, даю срокъ для ликвидаціи до марта мѣсяца. Съ 15 марта воспрещаю совершенно

нахожденіе въ Сфаятѣ безпризорныхъ домашнихъ животныхъ.

Въ прочтеніи этого приказа расписаться собственникамъ домашней птицы.

Вице-адмиралъ (подпись).

Вѣрно: Адъютантъ Морского Корпуса (подпись).

Такъ эта эпопея и кончилась. Куръ большею частью продали арабамъ.

* *
*

Утро. День будетъ жаркій. Мухи колотятся въ желѣзную сѣтку.

Голосъ «дѣдушки» подъ окномъ:

— Идемъ сегодня къ итальянцу?

Предпріятіе это заманчивое. Правда, оно сопряжено съ нѣкоторымъ расходомъ, но за то и удовольствія много. На нижнемъ шоссе, если спускаться отъ Надора къ Бизертѣ, среди раскинувшихся виноградниковъ издали видна широкая терраса, покрытая вьющеюся зеленью. Это небольшой ресторанчикъ, гдѣ хозяинъ-итальянецъ угощаетъ превосходнымъ виномъ изъ своихъ виноградниковъ — душистымъ и густымъ, какъ сиропъ. У этого итальянца русскими много было оставлено франковъ и разсказано всякихъ исторій.

Одна дорога туда чего стоитъ! Пройдя мимо лагеря, въ которомъ живутъ французскія офицерскія семьи, вступаешь въ ущелье, откуда одна дорога идетъ въ фортъ Энъ-Эчъ, а другая зигзагами спускается къ Бизертѣ. Картиной нельзя насмотрѣться. Обрывистыя скалы, взорванныя каменоломни съ гладкими словно полированными отвѣсными срѣзами, зеленые квадраты виноградниковъ и хлѣбовъ внизу, въ долинѣ, въ туманной дали Бизерта, справа блеститъ каналъ, а прямо — хочется его все вобрать въ себя — синее море. Оно далеко,

его какъ въ кинематографѣ, не слышно, но видно, какъ оно курчавится и пѣнится у береговъ.

Къ итальянцу мы спускаемся «по способности», иногда прямо, по кручи протоптанной тропинки. Входимъ на террасу, выбираемъ столикъ и нѣкоторое время молчимъ. У «дѣда» больное сердце — онъ тяжело дышитъ, вытираетъ шею платкомъ и подставляетъ голову мягкому вѣтру съ моря.

У итальянца «дѣдъ» всегда веселый. Онъ добродушенъ съ мужчинами, и чрезвычайно любезенъ съ дамами, и при расплатѣ строго настаиваетъ, чтобы дамы въ расходахъ не участвовали.

Приходили мы сюда сытыми и только пили. Мускатъ крѣпкій и приторный (много его не выпьешь) дѣлалъ свое дѣло... Обратный путь былъ тяжелъ и медлителенъ. «Дѣдъ» все время останавливается и хватается за сердце. Большая удача, если удастся подцѣпить проѣзжающаго извозчика. Тогда «дѣдъ» опять приходилъ въ благодушное настроеніе и мы шажкомъ поднимались по крутой дорогѣ подъ звуки бубенчика, покрикиванія араба и уславливались о вечернемъ винтѣ, въ библіотекѣ, въ его кабинкѣ.

Сначала библіотека помѣщалась въ простомъ сараѣ съ землянымъ поломъ. Сарай былъ сдѣланъ на живую нитку. Во время вѣтровъ его продувало насквозь, а въ дожди проливало такъ, что подмокали, и книги, и бумаги. Чинили сарай постоянно, проконопачивали, цементировали полъ, создавая внутри изъ одѣялъ и брезента удобную для жилья кабинку, непроницаемую для стихій. «Дѣдъ» умѣлъ свое жилье устроить хозяйственно, и когда бывало зайдешь къ нему посидѣть въ дождливый и холодный вечеръ, то «дѣдъ» посадитъ въ теплый уголокъ, зажжетъ примусъ, согрѣетъ вина, и мы примемся за разговоры. Въ бѣженствѣ воспоминанія не всегда растравляютъ душу, а часто примиряютъ съ

жизнью. «Дѣдъ» былъ прiятнымъ собесѣдникомъ, онъ много видѣлъ людей, наблюдалъ и судилъ не по шаблону, безъ заранѣе заготовленнаго штампа, поэтому говорить съ нимъ всегда было интересно. За долгiе вечера я узналъ его жизнь, службу и его самого. Основное, что ему было свойственно — это дѣятельность. Такъ просто, безъ дѣла его невозможно было представить. Чувствуя старость и болѣзнь, онъ боялся быть въ тягость другимъ. Иногда мысли его принимали идиллическiй оттѣнокъ. По завершенiи всего земного и суетного ему хотѣлось возвратиться къ себѣ, въ родную Елабугу, гдѣ онъ окончилъ реальное училище, и зажить въ маленькомъ домикѣ, въ уѣздной лѣсной глуши, среди запаховъ бора и земляники...

Вечерами мы иногда любили повинтить. «Дѣдъ» былъ великолѣпный винтеръ — въ этомъ отношенiи онъ вмѣстѣ съ ген. З. могъ считаться профессоромъ. Больше всего онъ любилъ закрытый винтъ вчетверомъ, но часто игралъ и вдвоемъ съ своимъ неизмѣннымъ партнеромъ, генераломъ З—нымъ. Игралъ «дѣдъ» истово, почвенно, какъ будто впиталъ въ себя школу цѣлыхъ поколѣнiй. Разбирая казусы, онъ могъ привести «историческую» справку, вспомнить о томъ, какъ четверть вѣка назадъ, въ Самарѣ, играя съ моимъ отцомъ въ клубѣ, какой-нибудь NN, при безкозырной игрѣ, не оставилъ передачу на туза и проч. Играя, онъ приговаривалъ: «червь, снѣдающiй плоть человѣческую», «славны бубны за горами», «тузъ и въ Цареградѣ тузъ», «думай, думай, Мойша, но не спи» и т. д. Своенравный характеръ его проявлялся и здѣсь. Если ему не везло, или его партнеръ дѣлалъ ошибки, «дѣдъ» дѣлался раздражительнымъ, иногда невыносимымъ, возмущался, хлопалъ картами о столъ и казался совершенно убитымъ. Но при первой удачѣ оживлялся и веселѣлъ. Думалъ онъ въ карты долго, взвѣшивая въ умѣ и примѣряя всевозможныя ком-

бинаціи, игралъ по стариковски, съ подсиживаніемъ и не прощалъ формальныхъ промаховъ, неукоснительно присчитывая штрафныя взятки. Послѣдній въ его жизни «малый шлемъ» мы сыграли съ нимъ въ одной партіи...

На другой день въ страшную жару онъ отправился въ Бизерту въ баню.

— Не ходите «дѣдушка», умрете, — кричали ему въ Сфаятѣ.

Но «дѣдъ» пошелъ, веселый и живой, шутилъ въ банѣ и обѣщался придти въ кафе, гдѣ его долженъ былъ ждать его спутникъ, Ив. Вл. Д. «Дѣдъ» пришелъ въ кафе, еле переводя духъ, хватаясь за сердце. Онъ терялъ сознаніе. Его положили на диванъ и, побѣжали за докторомъ, за лѣкарствомъ въ аптеку. Прошло много времени. «Дѣдъ» лежалъ еще живой, но, какъ мертвый — мухи свободно ползали по его лицу. Собравъ послѣднія силы, онъ передалъ подошедшему къ нему Д-кому распоряженія о деньгахъ — сыну...

Спокойный и строгій онъ лежалъ въ госпитальной часовнѣ, памятной намъ всѣмъ по печальнымъ воспоминаніямъ. Горѣли длинныя и узкія католическія свѣчи... На дворѣ строились кадеты. Подъ звуки траурнаго марша полковника Куфтина понесли въ русскій уголокъ кладбища. Я бросилъ цвѣты въ его могилу и грустно смотрѣлъ, какъ онѣ покрывались сухой и жесткой землей чужой страны...

УЧЕНИКИ.

Когда на «экранѣ моей памяти» развертываются картины моихъ африканскихъ воспоминаній, то въ нихъ основнымъ тономъ являются ученическія массы — то мальчишки, почти дѣти, то усатые юноши; то они проходятъ по одиночкѣ по лагерямъ, то идутъ густыми колоннами въ строю — зимой въ синихъ суконныхъ бушлатахъ, лѣтомъ — въ бѣломъ; то мелькаютъ въ поляхъ среди кустовъ, пробираясь по ими же проложеннымъ сокращенкамъ по разнымъ путямъ-дорогамъ. На торжественныхъ парадахъ, батальонныхъ прогулкахъ съ музыкой, на спортивной площадкѣ гимнастическихъ состязаній — это была монолитная масса; но мы знали своихъ учениковъ въ классахъ, на урокахъ, каждаго въ отдѣльности, а нѣкоторыхъ въ интимной обстановкѣ, какъ своихъ гостей. По отношенію ко всѣмъ нимъ были особенно сложны наши воспитательскія задачи и педагогическая отвѣтственность. У насъ на рукахъ оказались многіе десятки дѣтей, трагически оторванныхъ отъ семей, которымъ нужно было дать не только среднее образованіе, но и что-то сдѣлать въ другомъ отношеніи: дать то, что дается семьей и «домомъ» вообще въ развитіи общежительскихъ отношеній, общей интеллектуальности, индивидуальныхъ вкусовъ и т. д. Эти трудности чисто воспитательскаго характера считались едва преодолимыми, если вспомнить картину, хотя бы, пребыванія Мор-

ского Корпуса на «Ген. Алексѣевѣ» во время нашей эвакуаціи изъ Севастополя. Оборванные, кто въ чемъ одѣтые, грязные, завшивѣвшіе, какъ всѣ на корабляхъ, полуголодные, въ холодной и жесткой обстановкѣ непривѣтливыхъ кубриковъ неуютнаго дредноута, кадеты среди разношерстной, стихійно собранной толпы, казались безпризорными замарашками. Съ большой тревогой мы наблюдали на кораблѣ за грубыми нравами этихъ пареньковъ, зорко слѣдящихъ по части съѣстного за всѣмъ, что можно стащить — хлѣбъ, муку, консервы и проч. Корабельный блатный жаргонъ висѣлъ въ воздухѣ и нѣкоторое время, уже на берегу, грубые инстинкты, какъ скверныя привычки, прорывались на урокахъ. Особенно это сказывалось на урокахъ русскаго языка, который болѣзненно страдалъ отъ этого корабельнаго блата: кадеты въ классахъ озорничали, напр., отвѣчая урокъ или читая книгу,(представьте — Тургенева)! замѣняли слова: вмѣсто ѣсть — шамать, харчить и т. д. Съ этимъ тяжелымъ наслѣдіемъ пришлось очень долго бороться. И эти навыки у дѣтей были побѣждены. Началось съ внѣшности, съ приведенія всѣхъ къ приличному виду, съ искорененія разгильдяйства и распущенныхъ привычекъ. Надо отдать справедливость строевой части — внѣшняя часть воспитательнаго дѣла ей въ этомъ отношеніи удалась. Черезъ два-три мѣсяца работы на форту, въ Джебель-Кебирѣ, о закулисной сторонѣ которой мы знали немного, ученики стали неузнаваемы.

Какъ отзвукъ этихъ тяжелыхъ временъ осталась у кадетъ авантюрная привычка — старое воровство-баловство по садамъ и огородамъ. Откровенно сознаться, въ этомъ было много прародительскаго. Какъ гоголевскіе бурсаки, школяры, у насъ всегда много шкодили, несмотря на бдительную охрану садоводовъ и бахчевниковъ съ ихъ овчарками. Въ Африкѣ искушеній въ этомъ отношеніи было еще болѣе. Кругомъ нашихъ ла-

герей раскинулись арабскіе сады и виноградники, по мѣстному порядку обнесенные кактусовой оградой, какъ колючей проволокой. А на открытыхъ поляхъ, среди пашенъ, стояли одинокія деревья — яблони, винныя ягоды и др. Все это представляло огромныя искушенія, для многихъ совершенно непреодолимыя, и не только для маленькихъ...

Ночью, когда засыпали лагеря, начиналась особая потаенная жизнь, о которой могли бы разсказать не только сады и виноградники, но и темныя улочки Бизерты. Смѣльчаки небольшими группами отправлялись на добычу. Нужно было не только обойти собственное начальство — всевозможныхъ дежурныхъ, дневальныхъ и проч., но и бдительность сторожей и арабскихъ псовъ. Разумѣется, массу непріятностей причиняли ненужныя при этомъ опустошенія и поломки. Частыя жалобы арабовъ вызывали серьезныя мѣры борьбы съ этимъ злымъ мальчишествомъ, писались грозные приказы, но соблазнъ былъ не только для мальчишекъ... Однажды во время одного изъ такихъ ночныхъ набѣговъ арабами была застигнута цѣлая компанія. Большаки, сильные и проворные, успѣли ускользнуть, а одинъ маленькій кадетикъ своими танками застрялъ въ изгороди, былъ изловленъ и препровожденъ къ корпусному начальству. Утромъ, передъ выстроенной ротой виновный былъ вызванъ для выслушиванія жестокаго выговора. Какихъ только страшныхъ словъ тутъ не было! Маленькій преступникъ былъ въ большомъ смущеніи — онъ дѣйствительно являлся козломъ отпущенія, считая себя очень несчастнымъ человѣкомъ, съ другой стороны онъ чувствовалъ величайшую несправедливость въ такого рода одиночной отвѣтственности, — вѣдь въ этой экспедиціи участвовалъ и гардемаринъ-фельдфебель, стоявшій тутъ же на правомъ флангѣ и еще кое-кто повыше и т. д. Но какъ только онъ, не выдержавъ, съ досаднымъ плачемъ

сталъ называть имена, его немедленно отправили на свое мѣсто и дѣло было предано забвенію...

Эта эпидемія налетовъ имѣла мѣсто, главнымъ образомъ, въ началѣ и объяснялась, между прочимъ, той же сахарной голодовкой, которая заставляла насъ всѣхъ на первыхъ порахъ въ Африкѣ съ жадностью набрасываться на сладкое, продавать вещи для этого — такъ какъ денегъ не было, а у многихъ кадетъ вообще ничего не было, къ тому же въ первое время мы всѣ немножко голодали...

* *

*

Большое удовольствіе и удовлетвореніе для меня лично было прочесть курсъ по «Исторіи русской культуры» въ гардемаринскихъ классахъ, введенный, по словамъ «Объяснительной записки» къ нему, въ Корпусѣ спеціально для выработки въ учащихся историческаго самопознанія, «умѣнья оріентироваться въ политико-общественной обстановкѣ», чтобы, «подымая завѣсу надъ задачами момента», «путемъ изученія прошлаго, ясно себѣ отдать отчетъ въ настоящемъ» и «сознательно отнестись къ проведенію въ жизнь предначертаній исторіи». — Если вспомнить тѣ пагубныя послѣдствія, которыя произошли отъ полнаго незнакомства нашего офицерства съ общественною жизнью въ началѣ 1917 года, — такъ заканчивается эта очень толковая «Объяснительная записка» къ курсу, составленная въ августѣ 1920 г. въ Севастополѣ старш. лейтенантомъ Ш., — то тѣмъ яснѣе обрисуется насущнѣйшая потребность въ освѣщеніи и познаніи тѣхъ путей, которые дѣлаютъ нашу исторію и въ которыхъ мы будемъ не посторонними и подвергнутыми всякимъ случайностямъ зрителями, а активными дѣятелями, кующими новую жизнь.

Этотъ курсъ приближался въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ къ университетскому курсу русской исторіи. Надъ нимъ я работалъ много и съ огромнымъ удовольствіемъ, хотя большое затрудненіе представляло отсутствіе подъ рукой нѣкоторыхъ пособій; во многомъ пришлось полагаться на собственную эрудицію — въ первые годы бѣженства память въ этомъ отношеніи еще не измѣняла. Помню, я съ большимъ волненіемъ прочелъ свою первую лекцію въ совершенно необычайной обстановкѣ — въ дортуарахъ роты, среди желѣзныхъ, поставленныхъ въ два этажа коекъ съ сидящими на нихъ слушателями. Чтобы удобнѣе и доступнѣе подойти къ курсу, я началъ во введеніи съ географическаго фактора, изложивъ теорію Льва Мечникова о великихъ историческихъ рѣкахъ. Едва ли я преувеличу, если скажу, что мой курсъ въ гардемаринскихъ классахъ имѣлъ очень большой успѣхъ. На мои лекціи ходило много офицеровъ и почти постояннымъ слушателемъ былъ кап. I р. М. Ал. К — нъ. Благодаря отсутствію помѣщенія — пришлось одну и ту же лекцію читать четыре раза: въ началѣ это было даже нѣсколько интересно — я наблюдалъ, которая лекція наиболѣе удачно прочитывалась. Оказалось, что съ наибольшимъ подъемомъ я читалъ вторую, а ужъ читать третій и четвертый разъ одно и то же становилось скучно. Вскорѣ этихъ повтореній удалось избѣжать. Нѣкоторые вопросы въ чтеніи этого курса доставили мнѣ, однако, немало осложненій. Въ самой задачѣ введенія «Курса русской культуры» въ Корпусѣ лежали политическіе моменты, и нужно знать политическое направленіе умовъ военной среды русскаго бѣженства того времени и мои «кадетскія» убѣжденія и взгляды на переживаемыя событія, чтобы представить себѣ возможность разнаго рода конфликтовъ. О нихъ имѣются обширные матеріалы — когда-нибудь разскажу и объ этомъ... Цѣликомъ прочесть весь курсъ мнѣ удалось

только въ первой гардемаринской ротѣ: вслѣдствіе ускореннаго выпуска второй, въ дальнѣйшемъ пришлось отъ окончанія курса отказаться — о чемъ вспоминаю не безъ горечи. . .

Въ кадетскихъ ротахъ дѣло было проще, элементарнѣе. Я никогда не смотрѣлъ узко на преподаваніе исторіи въ средней школѣ — какихъ только вопросовъ не приходилось касаться въ процессѣ прохожденія историческихъ курсовъ, особенно XIX вѣка: археологіи, экономики, литературы, музыки и проч., а главное — политики. Отъ современности не уйти: сама наша жизнь въ африканскихъ лагеряхъ, сама наша бѣженская судьба требовали и выясненія, и оправданія именно въ исторіи. Всевозможныя дискуссіи возникали чаще всего по инціативѣ самихъ учениковъ, и какой же учитель — политическій эмигрантъ можетъ уклониться отъ этихъ поставленныхъ ребромъ и въ упоръ вопросовъ! Я никогда не считалъ потерянными эти часы, хотя и отнятые у курса, но потраченные на живѣйшее дѣло въ воспитаніи — отвѣтить на то, что волнуетъ. . . Обычно, это занимало нѣсколько минутъ, но иногда на это уходилъ цѣлый часъ незамѣтно; оставались неспрошенными намѣченные ученики, задавался старый урокъ и т. д., но безспорная польза урока уже ощущалась въ томъ впечатлѣніи, которое сказывалось въ глазахъ, въ позахъ, особомъ шумѣ, съ которымъ ученики покидаютъ классъ и проч. Ученики знали, что меня трудно просто спровоцировать на эти экскурсы, но, зная, что я обычно откликаюсь на хорошо поставленные вопросы, они нерѣдко заблаговременно готовились къ нимъ, и, намѣтивъ тему, выпускали какого нибудь «всезнайку» съ формулировкой недоумѣннаго вопроса. Помню одного кадета въ старшихъ классахъ, который такъ искусно и вдумчиво ставилъ вопросы, что я, прекрасно учитывая ихъ иногда весьма прозаическую подоплеку, все же не могъ удержаться отъ

соблазна и, если не было спѣшныхъ занятій, принималъ «вызовъ», къ великому удовольствію класса...

* *
*

У кадетъ, на форту въ Джебель-Кебирѣ былъ свой особый міръ, мало доступный намъ, сфаятцамъ. Большинство мальчиковъ были какъ бы сиротами — ихъ родные были въ Россіи, откуда иногда приходили письма скорбныя, грустныя. Многимъ некуда было пойти въ отпускъ, а извѣстно, какую роль онъ играетъ въ закрытомъ учебномъ заведеніи, какъ его ждутъ въ праздники. А здѣсь можно было только уходить изъ форта блуждать по полямъ и дорогамъ, или идти въ Бизерту, потолкаться среди шумной и чуждой толпы, поглазѣть на витрины магазиновъ, ну, можетъ быть, если найдутся деньги, купить что-нибудь или зайти въ кинематографъ, а потомъ подниматься на фортъ по надоѣвшей дорогѣ... А кадеты, у которыхъ были родные въ Корпусѣ или въ Бизертѣ, шли какъ-никакъ — домой. Поэтому какъ-то само собою возникло сближеніе нѣкоторыхъ кадетъ съ семейными Сфаята. Обычно, у каждой сфаятской семьи были свои постоянные гости-кадеты, приходившіе къ нимъ, какъ къ роднымъ. Эти интимные гости дѣлались друзьями семьи, часто приходили на цѣлый день и очень много и охотно помогали по хозяйству.

Одно время были организованы дамами особые чаи спеціально для кадетъ; эти маленькіе праздники устраивались обыкновенно на одной изъ площадокъ Сфаята и обставлялись очень тщательно — пекли пирожки, всякія сласти, красиво убирались столы и т. д. Чаепитія заканчивались играми. Намѣренія у дамъ были самыя хорошія, искреннія, но организація была довольно сложная, немного стѣснявшая обѣ стороны, и эти чаи сами собою прекратились.

Были попытки и болѣе серьезнаго сближенія съ учащимися на почвѣ, напр., литературныхъ интересовъ. Такъ, преподавателемъ Ал. З. Им — имъ былъ организованъ литературный кружокъ, который, какъ и всѣ подобные кружки, былъ лишь эпизодомъ на фонѣ нашей школьной жизни. Было устроено нѣсколько докладовъ и чтеній собственныхъ произведеній членовъ кружка. На одномъ я читалъ о Бальмонтѣ, который большинству представлялся послѣдней ступенью модерна и декадентщины, а на другомъ — о Григѣ съ музыкальной иллюстраціей. Самъ Ал. Зах. обычно читалъ своего излюбленнаго Ал. К. Толстого, котораго читалъ дѣйствительно хорошо.

Праздники входили очень важной частью въ нашъ африканскій бытъ. На спортъ было обращено большое вниманіе — на выписку снарядовъ денегъ не жалѣли, процвѣтали игры, въ томъ числѣ футболъ на очень плохой, до нельзя каменистой площадкѣ. . .

Среди традиціонныхъ развлеченій нельзя не вспомнить рядъ спектаклей, въ которыхъ принимали участіе и воспитанники и наши дамы. Ставился и Чеховъ, и Ал. Н. Толстой, и пьесы мѣстнаго происхожденія. Въ «Руфи», написанной В. В. Б — мъ мнѣ пришлось принять участіе въ качествѣ музыканта. Пьеса была недурно поставлена во рву, среди фундаментальныхъ каменныхъ стѣнъ, весьма подходящихъ къ изображенію грузныхъ стѣнъ древняго библейскаго города. Въ послѣдній годъ съ кадетами я поставилъ «въ сукнахъ» сцены изъ «Недоросля» и «Стрѣлочка» съ стихотворнымъ варіантомъ, написаннымъ Ириной К. Послѣдняя пьеска оказалась очень сценичной. Яркіе цвѣты на темномъ фонѣ сукна, живописные костюмы дѣвицъ и веселая пѣсенка, идущая все время съ приплясываніемъ, имѣли шумный успѣхъ. Незатѣйливый мотивъ и веселыя слова долгое время назойливо звучали въ ушахъ. . .

Съ кадетами послѣдняго выпуска я организовалъ хоръ, въ которомъ участвовалъ весь классъ безъ исключенія. Съ хоромъ же была поставлена пьеска «При лунномъ свѣтѣ». Кое-какія строчки этой пьесы я помнилъ, остальныя подсочинилъ. Музыкальныхъ вечеровъ за послѣдніе годы вообще было очень много — въ нихъ и я принималъ участіе вмѣстѣ со своими учениками. Вспоминаю о нихъ съ удовольствіемъ. Всѣ знаютъ, какъ пріятны въ нихъ репетиціи, со смѣной искреннихъ огорченій отъ неудававшихся мѣстъ до бурной радости достигаемыхъ эффектовъ; какъ мила эта всеобщая суматоха при устройствѣ сцены съ обязательными непредвидѣнными осложненіями въ день спектакля, и съ неизбѣжными волненіями артистовъ передъ выходомъ, всегдашними инцидентами, въ родѣ неисправнаго занавѣса и т. д...

КОНЕЦЪ.

Джебель-Кебиръ и Сфаятъ, два лагеря, въ первые дни нашего поселенія представляли изъ себя два небольшихъ перенаселенныхъ городка. Гардемаринамъ не хватало мѣста: когда одна рота занималась и готовилась къ выпуску, другая находилась въ это время на кораблѣ, проходя въ соотвѣтствующей обстановкѣ нѣкоторые предметы по морскому дѣлу. Жизнь въ лагеряхъ била ключемъ, на форту былъ установленъ привезенный съ собой двигатель и фортъ освѣщался электричествомъ... Затѣмъ, Корпусъ постепенно свертывался, покинулъ Кебиръ и въ періодъ послѣдняго выпуска представлялъ изъ себя въ Сфаятѣ тихій уголокъ, въ которомъ обслуживающаго персонала было уже больше, чѣмъ учениковъ. Одна за другой уходили группы, уплывали за море, уходили въ глубину Африки. Ихъ всегда тепло провожали, почти всегда съ особаго рода завистью, которая обычно бываетъ къ людямъ, уже перешагнувшимъ черезъ трудное и неизбѣжное. Они уже за чертой, за этимъ переваломъ, а намъ еще предстоитъ эта мука — конца, передвиженія и отъѣзда. Эскадра таяла, люди расходились по всей Тунисіи, перебирались въ Европу. А тутъ этотъ лишній ударъ. Признаніе большевиковъ. Вотъ были грустные дни! Передавалось изъ однѣхъ рукъ въ другія русское достояніе. Но въ этой передачѣ чувствовалась какая-то глубокая, внутренняя неправда и жесто-

кая обида, настоящая, кровная, а не мелкій ударъ по самолюбію. Корабли — живые организмы, и боль ихъ страданій чувствуется. Спущены андреевскіе флаги... Жилой домъ становится пустыремъ, зарастаетъ бурьяномъ... Корабли безъ дѣла, безъ ухода, стоящіе одинъ вплотную съ другимъ, безъ освѣщенія ржавѣютъ и умираютъ. Бухта Каруба — мертвое кладбище...

Начался вольный и невольный разносъ вещей. Появилось многое, чего тамъ оказалось въ изобиліи и въ чемъ мы нуждались.

Послѣ признанія большевиковъ конецъ Морского Корпуса былъ уже неизбѣженъ. Къ концу, какъ къ поставленной цѣли, мы шли, неуклонно готовясь, стараясь при ликвидаціи не упустить ни одной детали. Но чѣмъ ближе приближался этотъ моментъ, тѣмъ грустнѣе становилось на душѣ при видѣ суженія нашихъ силъ и работы. Въ этой грусти, рядомъ съ сентиментальнымъ чувствомъ привычки къ мѣсту и тягости разставанія, было сознаніе дѣйствительной утраты и неиспользованной до конца энергіи. Былъ русскій уголокъ — русская школа, — который дѣлалъ гуманное и полезное обще-національное дѣло. Казалось, что у него была задача, которую не нужно было маскировать ни передъ кѣмъ — учить русскихъ дѣтей. Почему Морской Корпусъ, какъ будто не захотѣлъ влить себя, все свое богатое оборудованіе и учебно-административный опытъ въ обще-русское просвѣтительное дѣло за-границей?

Понятно, что Морской Корпусъ долженъ былъ придти къ своему естественному концу, въ послѣдніе годы онъ назывался офиціально L'orphelinat russe — «сиротскій домъ», но почему съ закрытіемъ военнаго учебнаго заведенія должна была закрыться и русская *школа* вообще, школа на полномъ ходу съ готовымъ оборудованіемъ, въ то время какъ огромное количество русскихъ дѣтей, мы знаемъ, и по сіе время остается безъ

всякаго вліянія русской школы? Почему? Дѣло отнюдь не въ недостаткѣ средствъ...

Не все ладилось на эскадрѣ. На океанскомъ пароходѣ «Кронштадтъ» были огромныя мастерскія, великолѣпно и богато оборудованныя, большіе запасы всевозможнаго матеріала, былъ совершенно готовый, хорошо обученный практически штатъ мастеровъ-спеціалистовъ. Это была фабрика, которая могла быть пущена въ ходъ въ любой моментъ, работать и сама себя окупать. Но... что то не вышло. Нѣсколько случаевъ чумы... А потомъ «Кронштадтъ» уведенъ французами въ Марсель и, сдѣлавшись «Вулканомъ», кажется сгорѣлъ...

Почему, имѣя нѣкоторыя средства и организаціи, мы ничего не предприняли, чтобы пріобрѣсти или заарендовать въ той же Бизертѣ, хотя бы небольшіе клочки, въ родѣ фермы для русскихъ людей-бѣженцевъ, инвалидовъ, и устроить «Русскій домъ» въ Африкѣ, въ мѣстѣ скопленія бѣженцевъ? Почему?..

КОРПУСНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

ПОХОРОНЫ АЛГЕБРЫ.

Она умирала медленно...

Дни ея были сочтены, и можно было сказать съ увѣренностью, въ какой день, даже приблизительно часъ, она окончитъ свое существованіе. Въ послѣднее время все населеніе Морского Корпуса было занято судьбою близкой покойницы. Особенно выпускные кадеты были озабочены: ихъ мысли были охвачены ею, какъ бы сжились съ нею. Сколько разъ, при тускломъ освѣщеніи казематовъ Джебель-Кебира, въ гулкихъ коридорахъ форта бродили задумчивыя фигуры въ форменкахъ съ синими воротниками и тщательно, страницу за страницей, перебирали въ памяти безконечныя формулы, доказательства и въ особенности, непріятныя по своей сложности и новизнѣ, добавленія, взятыя изъ практики французской школы. Еще одинъ день и ночь послѣдней агоніи и можно будетъ въ торжественной церемоніи воздать покойницѣ за науку, за десятки исписанныхъ тетрадей, за истрепанные листы литографированныхъ лекцій-курсовъ, напечатанныхъ тутъ же въ корпусѣ, за длинный рядъ неудовлетворительныхъ отмѣтокъ и, какъ неизбѣжное послѣдствіе онаго, — неисчислимый рядъ часовъ, простоянныхъ подъ винтовкой и просиженныхъ въ карцерѣ... Да, строга была старушка, особенно, когда за нее принимался преподаватель, до самозабвенія влюбленный въ умирающую. Онъ готовъ былъ говорить о ней,

хоть до утра, съ кѣмъ угодно и гдѣ угодно. Встрѣтитъ кадета, идущаго въ отпускъ, слово за слово, дойдетъ дѣло до какихъ-нибудь функцій, — и до свиданья отпускъ: мелкими шажками будутъ ходить оба, одинъ говорить, другой почтительно слушать, прибѣгая при случаѣ къ цифровымъ иллюстраціямъ на стѣнахъ бараковъ, на пескѣ дорожки, на мясистыхъ листахъ агавы...

Послѣдняя ночь особенно тяжела и мучительна. Днемъ жгучее африканское солнце заставляетъ оставаться въ мрачныхъ классахъ-казематахъ форта, гдѣ прохладно, какъ въ погребѣ, но за то душной ночью приходится сидѣть тамъ же, группами, около коптящихъ лампъ или черныхъ досокъ изъ линолеума, на которыхъ пестрятъ формулы, такія знакомыя, въѣдливыя, что, казалось, не было часа въ жизни, несплетеннаго съ безконечными цифрами, которыя складываются на доскѣ въ символическія, футуристическія фигуры, имѣющія бездонный смыслъ и связанныя часто съ тяжелыми душевными переживаніями... Безконечно малая величина... даже представить себѣ нельзя, насколько малая... Два курьера... почему то они всегда ѣдутъ навстрѣчу другъ другу... А эти родственники близкой покойницы!.. Ньютонъ (его звали, кажется, Биномъ) Эйлеръ, Бернулли. Они представлялись такими же, какъ учитель математики, только, должно быть, въ большемъ размѣрѣ — безконечная величина... періодическая... со знакомъ интеграла...

Температура больной все повышалась. Въ разныхъ мѣстахъ форта, на большихъ листахъ, вырванныхъ изъ тетрадокъ, въ громадныхъ цифрахъ нѣсколько разъ въ день выставлялись бюллетени: теперь температура дошла до сорока. Въ послѣдніе дни говорили на форту шопотомъ; еле слышно, при нарочитой тишинѣ класса, рапортовалъ дежурный по ротѣ вошедшему преподава-

телю, и похоронно-мрачно звучало «здравія желаемъ», произносимое вполголоса.

Наконецъ, утромъ, въ восемь часовъ плакатъ у входа въ фортъ, у самой будки, гдѣ стоитъ дежурный по корпусу, возвѣстилъ, что положеніе больной безнадежно —агонія началась. Экзаменъ происходитъ въ концѣ коридора, въ большомъ казематѣ, гдѣ все было пропитано анализомъ, функціями, логарифмами, секторами — воспоминаніями объ умирющей, — формулы на разбросанныхъ шпаргалкахъ, на желѣзныхъ столахъ, взятыхъ съ кораблей, даже стѣны тщательно, какъ арабской вязью, были покрыты формулами...

Около семи часовъ вечера у роковой доски стоялъ послѣдній кадетъ. Онъ еле дышалъ, быстро писалъ на доскѣ, стиралъ все, что писалъ, и что-то говорилъ. Изъ ассистентовъ — кто сидѣлъ, кто стоялъ, кто тихо переминался съ ноги на ногу. Всѣ они воспаленными глазами, тяжело дыша, смотрѣли на незадачливаго кадета, и, кажется, вотъ-вотъ бросятся и растерзаютъ и кадета, и экзаминатора, который никакъ не можетъ добиться сакраментальнаго «что и требуется доказать». Наконецъ, преподаватель съ рѣшительнымъ видомъ подошелъ къ доскѣ, и, словно собираясь ударить, велѣлъ что-то стереть и писать снова, и хотя написано было вновь то же самое, но уже почти не глядя на доску раздалось громкое: «Ну! Слава Богу!! Довольно. Идите». И это «довольно» повторилось, какъ эхо, въ разныхъ мѣстахъ подземныхъ переходовъ, облегченно перекинулось на дворъ, на валы, гдѣ стояли кучками кадеты, глядя на блестѣвшее вдали лазурное море...

— Алгебра умерла!—торжественно провозгласилъ послѣдній изъ отвѣчавшихъ кадетъ, который по традиціи долженъ былъ на похоронахъ представлять ея мужа. Въ коридорахъ уже все было готово къ выносу покойной. Вскорѣ тѣло Алгебры, довольно потрепанное, было по-

мѣщено въ ящикъ, куда были положены тетрадки, записки и прочія реликвіи, связанныя съ нею. Ящикъ, поставленный на маленькую шаретку, подъ скорбные звуки марша прослѣдовалъ въ злачныя мѣста, гдѣ и долженъ былъ оставаться до ночи.

* *
*

Весь этотъ день, и особенно вечеръ, и фортъ, и Сфаятъ жили странной и необычайною жизнью. Пекло африканское солнце, звонили къ обѣду и ужину, играли въ винтъ въ библіотекѣ, ходили гулять съ собаками, треньками «Фетину» на разбитомъ піанино въ каютъ-кампаніи. Но и мало наблюдательный глазъ могъ замѣтить, что то и дѣло возбужденно снуютъ кадеты, собираются въ кучки съ видомъ заговорщиковъ и, передавая одинъ другому, съ непривычной торопливостью уносятъ на фортъ тщательно укутанные узлы и свертки.

Похороны имѣютъ свой, годами выработанный, ритуалъ. У гардемаринъ, хоронящихъ «альманахъ», онъ, что называется, съ большимъ перцемъ, у кадетовъ — поскромнѣе, но это — интимное таинство, съ безконечными варіаціями, вся привлекательность котораго заключается въ томъ, что оно устраивается втайнѣ отъ начальства... Какая спѣшная мобилизація костюмовъ, и мужскихъ и женскихъ, париковъ, усовъ, грима, цвѣтныхъ бумажекъ происходитъ къ этому времени на всей территоріи корпуса. Роли намѣчены заранѣе: тутъ принимается во вниманіе и ростъ и особенности рѣчи. Нѣкоторыя вещи даются просто, сочувствующими, подъ секретомъ, за то нѣкоторыя приходится доставать съ огромнымъ рискомъ. Большое затрудненіе составило достать осла Гришку и козу Бяшку, которые стояли въ конюшнѣ подъ замкомъ; они должны были фигурировать на похоронахъ: первый — везти траурную колесницу, вторая,

какъ необходимый аттрибутъ кап. 2 ранга Сорокина, для котораго уходъ за козой составлялъ одну изъ его первѣйшихъ домашнихъ обязанностей: съ нею онъ и долженъ былъ присутствовать на церемоніи.

Незамѣтно, вслѣдъ за короткими сумерками, подкралась ночь, тихая, душная, звѣздная. Запахло цвѣтами, неяснымъ сокомъ травъ, влажной гнилью изъ нижняго колодца; тянуло со стороны шоссе пылцей отъ овечьяго стада, къ нему примѣшивался приторный запахъ оливковаго масла и дымокъ отъ костровъ съ сосѣдней арабской деревни. Маслиновыя рощи слились въ одинъ темный кусокъ и казались сплошнымъ огромнымъ лѣсомъ. Темнота заглушила дневные шумы, жизнь ушла съ улицъ, засвѣтились въ баракахъ огни. Уже адъютантъ давно разнесъ почту, уже полковникъ прошелъ съ камбуза, попыхивая папироской. Шоссе опустѣло и рѣзкіе крики — «эрри» — арабовъ, понукавшихъ ословъ, становились слышными издалека. Сфаятъ засыпалъ. Вдали горѣли яркіе огни Феривилля, Пешери, судовъ въ каналѣ. За озеромъ мигали маяки. Далекіе земные огни смѣшались съ небесными — звѣзды ярко блестѣли, и отъ Венеры ложились тѣни по блѣдному шоссе. Замерла дорога на фортъ, ползущая змѣей, то ныряя въ долинку, то выбрасываясь наверхъ, на склоны разорванныхъ скалъ. Среди грудъ камней сосны, чуткія къ самому легкому вѣтру, тихо свистѣли, словно дышали...

Вдругъ откуда-то съ горъ, близко ли, далеко ли, раздался неожиданный и отчаянный крикъ козы. Черезъ минуту онъ повторился еще и еще и сталъ наполнять тишину ночи мучительной тревогой. Все дремало въ душной ночи, а коза кричала напряженно, настойчиво, словно желая разбудить и маслины, и пыльные кактусы, и звѣзды. И кто услышалъ этотъ крикъ, то заглушаемый, то короткій, то вновь длительный и настойчивый, тотъ уже не могъ спать и невольно вслушивался въ ночь.

Выскочила сова изъ дупла маслины и ея зловѣщій свистъ прорѣзалъ воздухъ ночи...

— Саша! Саша! вставай!—раздался высокій голосъ женщины, колотившей въ дверь барака.—Кадеты, идіоты, Бяшку увели! Иди, скорѣй!..

— Что? Что такое?—послышался заспанный голосъ, потомъ торопливый и безсвязный споръ, гнѣвные окрики, и черезъ нѣсколько минутъ кавторангъ Сорокинъ, безъ фуражки, которую онъ не могъ найти въ суматохѣ, спотыкаясь о камни, торопливо поднимался по крутой тропинкѣ къ форту. Всю дорогу онъ ругался вслухъ, поминая, что «бабы» все путаютъ, мѣшаютъ не только спать, но и жить и т. д. За поворотомъ, почти у входа въ самый фортъ, когда Сорокинъ засмотрѣлся на блестѣвшую розсыпь огней Бизерты и миганье островного маяка, онъ увидѣлъ обгонявшаго его генерала, начальника строевой части.

— А, ваше превосходительство!—обратился онъ къ тому и началъ, запыхаясь, разсказывать о приключеніи, которое привело его на фортъ въ столь необычное время.

Генералъ, нѣсколько горбясь по обыкновенію и нахлобучивъ фуражку, какъ можно глубже, поддакивалъ неопредѣленными звуками, стараясь держаться немного сзади и уклоняясь отъ рѣзкаго свѣтового луча, идущаго черезъ ворота форта отъ факеловъ, горящихъ во дворѣ. Въ самыхъ воротахъ, около будки часового, на которой былъ прибитъ большой плакатъ съ приказомъ по корпусу о смерти Алгебры, къ Сорокину подскочилъ одинъ изъ кадетовъ и совсѣмъ неожиданно хлопнулъ его по загривку:

— Ну, и ловко же братъ, ты нарядился! Узнать нельзя!..

И когда Сорокинъ выпучилъ сощуренные отъ непривычнаго свѣта удивленные глаза и остановился, кадетъ вдругъ круто повернулся и быстро исчезъ въ темноту рва

и, что было всего неожиданнѣе, за нимъ шмыгнулъ и начальникъ строевой части, съ несоотвѣтствующей для генерала скоростью.

Изумленный Сорокинъ обратился къ кадетамъ, обступившимъ его стѣною, желая преградить ему доступъ во дворъ; онъ старался успокоить кадетъ, извинялся и, путая отъ торопливости слова, просилъ «отдать ему жену, потому что коза дома безпокоится». Онъ застылъ съ раскрытымъ ртомъ, когда къ нему подошелъ, ведя на веревкѣ Бяшку, его двойникъ, кап. 2 ранга Сорокинъ въ его собственномъ кителѣ, въ его фуражкѣ, которую онъ тщетно искалъ только что дома. Между двумя Сорокиными произошелъ недолгій разговоръ, при чемъ оба они произносили *ковда* вмѣсто когда, а кадеты кругомъ помирали со смѣху...

Идя домой съ Бяшкой, Сорокинъ задумчиво улыбался. Его взбудоражило ослѣпившее его зрѣлище. Онъ вспомнилъ молодость, обширныя залы Морского Корпуса на берегахъ Невы... такъ же «альманахъ» хоронили... Затѣмъ плаванье, когда онъ, тогда еще молодой мичманъ, былъ въ той же Бизертѣ... Странно какъ то все... и онъ плохо спалъ эту ночь, чутко прислушиваясь къ таинственнымъ шумамъ ночи, и въ дремотѣ ему слышались звуки горна и духовыхъ инструментовъ съ буханьемъ турецкаго барабана.

Барабанъ бухалъ истово и усердно и, подъ звуки похороннаго марша оркестра, оселъ Гришка везъ на шареткѣ, на которой онъ возилъ провизію изъ Бизерты, ящикъ съ Алгеброй, около которой шелъ неутѣшный мужъ, человѣкъ неопредѣленнаго вида. Затѣмъ — адмиралъ, директоръ корпуса, около него мелкими шажками сутулился генералъ, начальникъ строевой части, юлилъ юлой инспекторъ классовъ, на почтительномъ разстояніи шелъ чопорный адъютантъ, а тамъ офицеры, преподаватели и... дамы.

Здѣсь было вложено много остроумія, шаржа и наблюдательности. Непремѣннымъ условіемъ ритуала являлся почетный караулъ, причемъ единственное одѣяніе лицъ, его составлявшихъ, заключалось въ танкахъ и портупеяхъ. Командовалъ карауломъ, высокимъ звонкимъ теноромъ, ротный съ длинными бакенбардами. Въ числѣ высокихъ гостей былъ маршалъ Петенъ. Его появленіе во дворѣ форта, освѣщеннаго факелами, произвело на караульныхъ солдатъ величайшее впечатлѣніе. Когда началась торжественная церемонія и среди мундировъ появилась прекрасно загримированная фигура маршала, четыре солдата-сенегальца, ничего не понимающіе, какъ полоумные выскочили изъ караулки съ винтовками и отдали процессіи воинскія почести.

Что было дальше, знаютъ только участники этой церемоніи, да крѣпкія стѣны и рвы Джебель-Кебира, да темная и теплая африканская ночь, пахнущая цвѣтами, моремъ и керосиновою копотью отъ шипѣвшихъ факеловъ...

Послѣ торжественнаго сожженія и провозглашенія традиціонныхъ анаѳемъ и многолѣтій, черезъ пепелъ костра нѣсколько разъ прошелъ церемоніальнымъ маршемъ весь батальонъ, причемъ количество инструментовъ все уменьшалось и послѣднее прохожденіе происходило лишь подъ рѣдкія кряканья геликона. А затѣмъ были поминки, много, очень много вина. Ловили Гришку, который, пользуясь тѣмъ, что его забыли, опрокинулъ шаретку и убѣжалъ, его ловили и дамы, неумѣло и непривычно подоткнувши платья...

Уже стала разрѣжаться темнота и свѣтлѣть морская даль. Факелы потухли. По двору нетвердо проходили одиночныя фигуры. На мѣстѣ торжественной тризны, около большихъ жестяныхъ баковъ, сидѣли съ кружками черные, какъ ночь, солдаты-сенегальцы. Они попрежнему ничего не понимали, но были безконечно веселы.

ВРАГИ.

Рождество.

Зимнее солнце, не жгучее, но теплое, пріятное обогнуло Сфаятъ, бѣженскій африканскій лагерь, и за широкой долиной, за горами гдѣ-то опустилось въ море. Оранжевый отсвѣтъ маслинъ потускнѣлъ. Отъ колодцевъ, снизу потянуло сыростью.

Сфаятъ готовится къ празднику. Онъ весь какъ бы выбился изъ колеи. Всѣ заняты и торопятся. Вытряхиваютъ сѣрыя одѣяла, прибираютъ бараки, и топчаны съ кадетскими вещами въ безпорядкѣ жмутся другъ къ другу на улицѣ. Уставшія отъ пыли и суеты группы сбиваются у деревьевъ, у гамаковъ на обрывѣ, какъ разъ по дорогѣ къ камбузу, гдѣ — издали видно — пылаетъ большой огонь и откуда то и дѣло выскакиваютъ красные, потные люди въ невѣроятно замазанныхъ костюмахъ; кто бѣжитъ съ кастрюлей, кто тащитъ ступку, кто противенъ, тамъ набираютъ воду у крана и, пока вода бѣжитъ ровной, свѣтлой струей, двое кадетъ вытираютъ рукавомъ лицо, закуриваютъ у проходящаго мимо крученку, не касаясь ея мокрыми руками.

Сложный ритуалъ раздачи праздничнаго обѣда вывѣшенъ на стѣнахъ камбуза. Полковникъ волнуется.

— Господа, я сто разъ говорилъ, — нервно отвѣчаетъ онъ дамѣ, стоящей передъ нимъ съ виноватымъ видомъ. Первый звонокъ будетъ на котлеты и на сало.

Что? Мало горчицы? Ахъ, пожалуйста, хоть миску приносите! Второй звонокъ — на булочки, пирожки, на мазурки, на апельсины и финики. Третій — на вино, на взваръ и на кутью.

— А что, господинъ полковникъ, кутья будетъ съ орѣхами? — подобострастно спрашиваетъ маленькій кадетъ, чумазый отъ сажи, но полковникъ бросаетъ на него уничтожающій взглядъ, грызетъ мундштукъ и, гремя ключами, проходитъ въ свою кабинку.

Въ углу одного изъ бараковъ на утоптанной площадкѣ сидѣло трое. Одинъ раскачивался на гамакѣ, онъ то поджималъ подъ себя ноги, то вытягивалъ ихъ, раскинувъ руки, какъ крылья. Передъ нимъ на разножкѣ — плотный, почти сѣдой старикъ, а на скамьѣ, передъ столомъ, врытымъ въ землю, — высокій господинъ, въ пенснэ; онъ сидѣлъ, закинувъ ногу на ногу и сложивъ руки на животѣ. Одѣты всѣ трое были одинаково, въ синія суконныя брюки и синіе бушлаты. Двое были изъ Сфаята, изъ Морского Корпуса, а третій, что сидѣлъ на разножкѣ, Аркадій Петровичъ, пришелъ съ эскадры. Онъ былъ военный, старый службистъ, въ чинахъ, пѣхотинецъ, но застрявшій послѣ эвакуаціи на флотѣ и теперь доживающій свои дни въ качествѣ какого-то караульщика мертвыхъ кораблей. Онъ былъ семейный, но растерялъ семью и страшно тосковалъ. По большимъ торжественнымъ днямъ Аркадій Петровичъ ходилъ въ церковь въ Морской Корпусъ, съ трудомъ поднимаясь на высоты форта, часто отдыхая, устремляясь думами далеко куда-то, поверхъ Бизерты, въ море. Политики онъ не понималъ и не любилъ. Онъ сроднился со старой идеологіей еще на томъ берегу и теперь все его раздражало, заставляло видѣть всюду виновниковъ общаго несчастья. Волнуясь читалъ газеты и, зарядившись матеріаломъ, кипѣлъ, набрасываясь на перваго попавшагося оппонента. Онъ не выносилъ возраженій, не хотѣлъ знать

никакихъ тамъ историческихъ процессовъ, для него всякій политическій разговоръ былъ сплошной скорбью, и болью о дорогомъ и утраченномъ. Но иногда онъ уставалъ отъ этихъ приступовъ ненависти, и тогда ему оставалась тоска одиночества,которую онъ не могъ заглушить, особенно въ дни, когда всѣ мысли рвутся въ страну, такъ непохожую на каменистые склоны и кривыя масличовыя рощи Африки...

Аркадій Петровичъ пришелъ въ Сфаятъ еще засвѣтло. Поднявшись по сокращенкѣ, онъ остановился перевести духъ на крутой лѣстницѣ, закрытой наполовину упавшимъ съ корнемъ деревомъ. Потомъ, схватившись за вѣтви, порывисто дыша, онъ сталъ подниматься по ступенькамъ къ баракамъ.

— А, вотъ же и Аркадій Петровичъ! — услышалъ онъ знакомый голосъ одного изъ преподавателей.—Милости просимъ!

Когда Аркадій Петровичъ подошелъ съ протянутой рукой къ стоявшему около деревяннаго стола, врытаго въ землю, Ивану Фелиціановичу и пожалъ его руку, собираясь сѣсть, онъ услышалъ вкрадчивый голосъ Ивана Фелиціановича:—Вы не знакомы? вѣроятно, конечно — тутъ всѣ знакомы, нашъ — Петръ Петровичъ NN.

Аркадій Петровичъ оглянулся на господина въ гамакѣ, и лицо его перекосилось. Онъ терпѣть не могъ N N, считая его лѣвымъ, чуть ли не большевикомъ. Сколько разъ, на эскадрѣ онъ говорилъ, что такихъ людей, какъ N N, вѣшать надо. Въ другомъ мѣстѣ, онъ никогда бы не поздоровался съ нимъ, но теперь почувствовалъ, что находится на «дачкѣ» NN, нѣсколько растерялся, и, протянувши руку Петру Петровичу, грузно опустился на разножку.

Разговоръ зашелъ о пустякахъ, какъ при тяжело больномъ, и долго велся на отрывочныхъ фразахъ, но Аркадію Петровичу стало вдругъ досадно на себя за эту

встрѣчу, и онъ сталъ быстро, какъ бы самъ съ собой, говорить о себѣ, о своей тоскѣ, объ изломанныхъ людяхъ, такихъ же несчастныхъ, какъ онъ. Чѣмъ больше говорилъ Аркадій Петровичъ, тѣмъ больше замѣчалъ, что говоритъ онъ нудно, уныло и какъ-то очень обыкновенно, словно по книжному, избито, хотя чувствовалъ, что въ его горѣ есть много своего, особеннаго, только ему одному принадлежащаго. Ему становилось обидно, что онъ пытается для чего-то такъ нескладно излить свою душу передъ вотъ этимъ, далекимъ и ненавистнымъ ему человѣкомъ, и ему захотѣлось сказать что-нибудь грубое N N, что-нибудь язвительное, и Аркадій Петровичъ сталъ искать способа перемѣнить тему, перевести ее на личную и политическую почву, чтобы можно было уколоть этого спокойнаго по виду, раскачивающагося въ гамакѣ человѣка. Это ему долго не удавалось. Онъ не могъ рѣшиться сказать колкость человѣку, почти въ гостяхъ у котораго онъ сидѣлъ, съ которымъ только что познакомился и который, въ сущности, не сдѣлалъ ему никакого зла. И Аркадій Петровичъ сталъ говорить о газетѣ, въ которой писалъ N N, о политическихъ дѣятеляхъ и партіяхъ, близкихъ ему. Онъ говорилъ довольно безсвязно, нелогично, но зло и обидно, и когда онъ говорилъ: «прохвостъ», «мерзавецъ», «предатель», «подлая партія», то было ясно, что онъ говоритъ о немъ, о Петрѣ Петровичѣ N N, желая его косвеннымъ образомъ задѣть, унизить, обидѣть...

Петръ Петровичъ раскачивался въ гамакѣ, временами подавая реплики. Онъ принималъ вызовъ, расшифровывалъ язвительные наскоки Аркадія Петровича и вскорѣ отрывистый монологъ гостя съ эскадры перешелъ въ споръ, страстный, бранчивый и безтолковый. Въ этомъ спорѣ не было другого желанія, какъ наговорить въ глаза противнику побольше обидныхъ вещей, натѣшиться его волненіемъ. Оба кричали и перебивали другъ друга

и вотъ вотъ готовы были сорваться слова, послѣ которыхъ уже не можетъ быть никакихъ разговоровъ. Но въ то же время, оба чувствовали какой-то внутренній стыдъ, что дали распустить себя, и въ душѣ каждый жалѣлъ о брошенныхъ нетактичныхъ фразахъ, но еще болѣе сердился и еще болѣе старался нанести побольше мучительныхъ уколовъ противнику, чувствуя въ то же время, что этимъ причиняетъ больно прежде всего самому себѣ, и въ этомъ было какое-то особенно мучительное удовольствіе.

Иванъ Филиціановичъ сразу былъ сбитъ съ толку странной логикой словеснаго турнира, страдальчески безпокойно смотрѣлъ то на одного, то на другого, безпрестанно повторяя: Ахъ, Боже-жъ мой, Боже-жъ мой!... Онъ никакъ не могъ ухитриться вмѣшаться въ споръ, принявшій такія неожиданно-бурныя формы, и, воспользовавшись минутнымъ молчаніемъ, почти трагическимъ тономъ вдругъ сказалъ, оглянувшись:

— Посмотрите, теплынь- то какая! Вѣдь Рождество, а дамы въ лѣтнемъ ходятъ... А у насъ-то въ Россіи, зима...

Ему никто не отвѣтилъ, но Иванъ Фелиціановичъ, боясь до ужаса, что вотъ-вотъ вспыхнетъ опять этотъ непріятный споръ, заговорилъ громко и безостановочно.

— Вообще же я нахожу, что зима, наша русская зима, вовсе не такая плохая вещь. Въ концѣ концовъ, вовсе уже не такъ холодно у насъ было. Я признаюсь, что здѣсь, въ Африкѣ, мерзну гораздо больше, чѣмъ, напр., въ Москвѣ, — вѣдь у насъ въ домахъ топили, да и постройка — сѣверная, крѣпкая. Одинъ мой знакомый такъ и говоритъ: я человѣкъ сѣверный и поэтому люблю въ комнатѣ тепло. Вообще, я долженъ сказать, господа, — продолжалъ Иванъ Фелиціановичъ, словно читая лекцію—что я не поклонникъ здѣшней природы, южной природы, юга вообще. Конечно, здѣсь много свѣта и

красокъ, но вѣдь, господа, это, строго говоря, аляповатое и до нельзя напряженное. Когда я сравниваю нашу сѣверную, русскую (я имѣю въ виду центральную полосу Россіи), природу съ южной, послѣдняя всегда представляется мнѣ какой-то нарумяненной, намазанной вакханкой: ея красота груба, въ ней нѣтъ нашей скромности, удивительнаго цѣломудрія, напр., нашихъ зимнихъ сумерекъ. Здѣсь природа безъ жизни. Посмотрите на эти пальмы, маслины, на здѣшніе мясистые цвѣты, кажется, что всѣ они сдѣланы изъ жести и воска. Югъ — сплошной натюръ мортъ.

Вотъ, говорятъ — солнечный свѣтъ, потоки свѣта, дѣйствительно, здѣсь онъ, кажется, и вправду пахнетъ (и по моему оливковымъ масломъ), ну, а скажите, пожалуйста, — обратился къ своимъ сосѣдямъ Иванъ Фелиціановичъ, — а солнечный свѣтъ въ снѣгахъ, когда поляна блеститъ переливчато, разсыпчато... Ахъ, Боже-жъ мой, — захлебнулся онъ.

— А какая волшебная картина лунной ночью, — словно про себя, задумчиво проговорилъ Петръ Петровичъ, задерживая гамакъ, — когда снѣжинки словно алмазы. На деревьяхъ... Вамъ приходилось ѣздить на лошадяхъ лѣсомъ, когда лохматыя деревья въ снѣгу? Какъ я люблю эту ѣзду на лошадяхъ, въ саняхъ!

— А вы любите, — медленно проговорилъ Аркадій Петровичъ, поднимая голову, но попрежнему закрывая ладонями уши (на Петра Петровича глянуло совсѣмъ другое лицо). — Вы помните, какъ скрипятъ полозья, когда сани подкатываютъ къ парадному: э... э... э... э? Вѣдь это музыка. У насъ, въ нашихъ краяхъ, — продолжалъ Аркадій Петровичъ, — снѣговъ много, сторона глухая, ѣздятъ гусемъ.

— Какъ же, какъ же, — отозвался быстро Петръ Петровичъ, — прекрасно знаю; правда, эта ѣзда съ ло-

шадиной точки зрѣнія не совсѣмъ справедлива: все больше на коренникѣ.

— Ну да, по нашимъ дорогамъ, какъ же иначе? Но какой ритмъ въ ѣздѣ. Мой мальчуганъ какъ-то мнѣ говоритъ: я, говоритъ, тебя, папа, такъ люблю, какъ гусевой кнутъ хлопаетъ... Славный мальчишка у меня, деревню любитъ, хотѣлъ все лѣсничимъ сдѣлаться...

— И вообще, я нахожу, — опять заговорилъ оживленно Иванъ Фелиціановичъ, — что въ исторіи сѣверъ всегда побѣждалъ югъ. Вспомните — сѣверные штаты побѣдили южные, доряне покорили іонянъ, а въ русской исторіи — развѣ это не есть вѣковѣчное сползаніе отъ Балтійскаго моря къ Черному. И въ гражданскую войну я всегда думалъ, что большевики въ концѣ концовъ овладѣютъ югомъ.

Иванъ Фелиціановичъ мелькомъ взглянулъ на Аркадія Петровича и заторопился поскорѣе отойти отъ опаснаго примѣра.

— Я нахожу, что у южанъ очень узкій кругозоръ. Въ сущности, здѣсь круглый годъ сплошное однообразіе. Растительность — неподвижна, неизмѣнна; правда, цвѣты какъ-то страннно глубокой осенью начинаютъ цвѣсти снова, словно вторая молодость, но вѣдь осенью природа умираетъ, вѣдь этотъ фактъ осознанъ, такъ сказать, всей міровой литературой — вы представляете себѣ: «Осенняя пѣсня» и прочія тамъ резиньяціи, и вдругъ здѣсь все наоборотъ. Обратите, господа, вниманіе — вотъ въ чемъ сказывается отличіе европейца отъ всякихъ тамъ африканцевъ — въ смѣнѣ временъ года; вѣдь это для насъ, настоящихъ, центральныхъ европейцевъ, чортъ побери, философія природы, вошедшая въ наше міросозерцаніе. Зимой спячка, почти смерть, но нѣтъ, побѣждаетъ жизнь. Весна...

— Ледоходъ!! — рявкнулъ, какъ скомандовалъ Аркадій Петровичъ и, подскочивъ, подошелъ къ Ивану Фе-

лиціановичу и поднесъ оба кулака къ его животу. — Какъ это напретъ, набухнетъ... Вы понимаете... У меня въ усадьбѣ зимняя дорога... сейчасъ же... черезъ озеро. Ну, она, дорога-то, утоптанная, унавоженная и вдругъ, вы понимаете, какъ набухнетъ (наслудъ по нашему называется) и... тронулся ледъ и поплыла дорога, дорога-то отдѣлилась отъ земли, поплыла. Хаха-а-а...

Аркадій Петровичъ закатился здоровымъ смѣхомъ и весело посмотрѣлъ на Петра Петровича.

— И вѣдь какъ все мѣняется, — воскликнулъ Петръ Петровичъ. — Я въ полую воду ѣду на лодкѣ верхушками деревьевъ и думаю: а вотъ лѣтомъ на этомъ мѣстѣ мы на пикникѣ были, чай пили.

— Вотъ именно, — подхватилъ Иванъ Фелиціановичъ, — цѣлая трансформація, дѣйствительно чудо природы. Боже-жъ мой, да развѣ здѣсь, или въ какомъ-нибудь Суданѣ, понимаютъ, что такое весна, май, яблони цвѣтутъ, соловьи поютъ... Меня всегда удивляло, какъ они (Иванъ Фелиціановичъ сдѣлалъ жестъ въ сторону Бизерты) могутъ увлекаться русской литературой, какъ человѣкъ, не ѣздившій дальше Средиземнаго моря, можетъ понять и ощутить, напр., описаніе ранней весны въ «Воскресеньи» Толстого. Другая природа, другая психологія. Конечно, у каждаго народа много цѣннаго за душой, но я нахожу, что у русскаго человѣка больше кругозоръ, потому что... потому что, въ сущности, его природа богаче. У насъ годъ — могучій, настоящій круговоротъ, отъ мороза, когда плевокъ въ воздухѣ стынетъ и духъ захватываетъ, до жары, когда тоже духъ захватываетъ.

— Ну, кажется, въ послѣднемъ случаѣ побѣда останется за югомъ, — улыбнулся Петръ Петровичъ.

— Какъ вамъ сказать! — воскликнулъ Аркадій Петровичъ. — Вотъ мы живемъ въ Бизертѣ который годъ, и только, когда дуетъ сирокко, здѣсь дѣйствительно жар-

ке, а въ другое время море и бризы все умѣряютъ. А припомните въ Россіи, въ сухой годъ, когда въ тѣни тридцать пять градусовъ, а въ воздухѣ не шелохнетъ, когда пыль виситъ и застилаетъ солнце. Вы помните — въ такіе дни куры, растопыривъ крылья и разинувъ клювы, не знаютъ, куда себя дѣвать. Это когда у насъ, что называется, паритъ. А здѣсь что! Куда имъ до нашей жары! И Аркадій Петровичъ злобно посмотрѣлъ на проходившаго мимо араба съ финиками.

— Но такіе дни у насъ рѣдкость, — сказалъ Петръ Петровичъ.

— Разумѣется. У насъ лѣто мягкое, — подхватилъ Иванъ Фелиціановичъ, — благодатное, цвѣтущее. Вѣдь цвѣты у насъ съ весны до глубокой осени. Трава мягкая, зеленый коверъ — земли не видать, лежишь на спинѣ въ одной рубашкѣ, какъ на кошмѣ, не то, что здѣсь — колючки. И совсѣмъ безопасно. Обратите вниманіе — въ центральной Россіи почти нѣтъ этихъ гадостей: скорпіоновъ, смертельныхъ тарантуловъ — вы можете спать на голой землѣ и никто, кромѣ комаровъ, не причинитъ вамъ никакихъ непріятностей.

— Какой благодатный и богатый край, — восторженно произнесъ Аркадій Петровичъ. — Какія травы въ поемныхъ лугахъ, чернолѣсье, — непроходимая чащоба и всюду, безъ конца всякой твари.

— «Все полно боговъ, демоновъ и душъ», какъ говорили древніе, — вставилъ съ улыбкой Петръ Петровичъ.

— Вотъ именно, жизнь въ природѣ бьетъ ключемъ и вы видите эту жизнь. Идешь по зарѣ на озеро — лѣтомъ я люблю умываться на воздухѣ — вся природа умывается: утки, гуси полощатся, мошкара вылѣзаетъ, разныя пичуги рты себѣ чистятъ, на листьяхъ роса блеститъ... Словомъ счастье! Мой мальчуганъ, бывало, утромъ бѣжитъ по саду въ купальню и кричитъ: здравствуйте, птички! здравствуйте, мушки! здравствуйте, ба-

бурочки!... Славный у меня мальчишка, — продолжалъ Аркадій Петровичъ. — Охотникъ. Послѣ Петрова дня съ ружьемъ, а осенью съ борзыми. Только ученье ему мѣшаетъ, самое хорошее время для охоты пропадаетъ.

— А вы, неужто борзятникъ? — спросилъ Петръ Петровичъ и даже привсталъ съ гамака. — Вы какой губерніи?

— Казанской, южнаго уѣзда.

— А я — Самарскаго, на самой границѣ. По Черемшану. Какіе лѣса, лоси водятся. Въ степяхъ какая чудная охота въ «наѣздку»!

— Вы любите въ наѣздку? — прервалъ его Аркадій Петровичъ. — Да... это импровизація, но то ли дѣло «островъ» брать, съ гончими. Это цѣлая симфонія. Стоишь на конѣ, собаки на сворѣ, какъ на струнѣ. Воздухъ ядреный, бодрый. «Колокъ» — разноцвѣтный, багряный. А что можетъ сравниться съ минутой, когда начнется гонъ. На разные голоса зальются. Собаки дрожатъ, лошадь ушами водитъ, а у самого сердце такъ и тукаетъ. У меня былъ Чародѣй, внукъ Карѣевскаго Черкеса...

— Густопсовый? — спросилъ Петръ Петровичъ.

— Шерсть, какъ у овцы.

— А я люблю больше чистопсовыхъ.

— Ну, положимъ...

— Правда, густопсовые красивы, но нѣжны, на одну, двѣ угонки хватаетъ, а чистопсовыя — собаки жилистыя, нестомчивыя...

— Ахъ, оставьте, — закричалъ Аркадій Петровичъ и, подскочивъ вплотную къ Петру Петровичу, заспорилъ съ жаромъ, то наступая и тѣсня своего собесѣдника къ обрыву, то отступая на шагъ и повертываясь къ нему вполоборота, иногда похлопывая его снисходительно по плечу. Голоса ихъ доходили до высокаго напряженія...

Было совсѣмъ темно.

На камбузѣ уже звонили нѣсколько разъ и прохо-

дившіе мимо съ кастрюлями и баками смотрѣли съ изумленіемъ на Петра Петровича и на его неожиданнаго гостя, размахивающихъ руками и разсказывающихъ другъ другу на перебой, съ выкриками. Оба они при этомъ принимали странныя позы, изображая, то будто скачутъ на конѣ, то готовятся къ какому-то страшному прыжку. А около нихъ весело топтался Иванъ Фелиціановичъ; онъ иногда вдругъ замиралъ въ какомъ-то ожиданіи, потомъ быстро отскакивалъ, всплескивалъ руками и заливался, присѣдая, раскатистымъ хохотомъ. . .

— Господа, прошу васъ, идите скорѣе, — раздался женскій голосъ, и Аркадій Петровичъ, машинально, продолжая жестикулировать и тереться о локти Петра Петровича, вошелъ въ его кабинку.

Тамъ, въ концѣ длиннаго стола, стояла елка, раскидистая, высокая. Возлѣ нея, на табуретѣ озабоченно вытягивался кадетъ въ чистой свѣже-разглаженной форменкѣ, зажигая торжественно свѣчи. Лампы не было. Въ темномъ углу, на скамейкѣ шипѣлъ примусъ краснымъ и синимъ огнемъ.

— Садитесь, господа, сейчасъ кутью будемъ ѣсть.

Аркадій Петровичъ молча поцѣловалъ руку хозяйки, опустился на диванъ, впился глазами въ елочные огни и долго не могъ сказать ни слова.

У МЫСА БЛАНКО.

Четверо шли по склону, огибая грузную массу Джебель-Кебира. Двое мужчинъ были одѣты совершенно одинаково, въ костюмы изъ бѣлой матеріи, сшитые по одному покрою, и въ мягкихъ шляпахъ изъ той же матеріи: такъ ходили лѣтомъ всѣ въ Африкѣ, въ Морскомъ Корпусѣ. Впереди мелькали двѣ маленькія фигурки — кадета лѣтъ десяти въ такомъ же костюмѣ, какъ и взрослые, только рубашка была распущена, безъ пояса, и дѣвочки лѣтъ восьми, въ легкомъ голубенькомъ платьицѣ.

Пройдя мимо домика сержанта и выйдя на широкую дорогу къ Надору, всѣ четверо взяли влѣво отъ шоссе и пошли по неровной узкой тропинкѣ вдоль густыхъ зарослей кактусовъ и непроходимыхъ колючихъ кустовъ ежевики. Справа и слѣва, по склонамъ горъ, покачивались волны колосьевъ хлѣба; среди нихъ попадались одинскія, таинственныя въ своемъ безобразіи, маслины и гнущіяся, какъ змѣи, фиговыя деревья.

Взрослые шли въ ногу, то рядомъ, то въ затылокъ, а двѣ фигурки то и дѣло застревали въ кустахъ ежевики, срывая громадныя, душистыя ягоды, которыхъ арабы почему-то не собираютъ. Въ глубинѣ долины, у колодца, у старой усадьбы, которая чѣмъ-то напоминала наши русскія — можетъ-быть тѣнистымъ, запущеннымъ садомъ — сдѣлали остановку, пили вкусную воду, мыли руки и губы, синія отъ ежевики, и съ большимъ сокру-

шеніемъ смотрѣли на свѣжія фіолетовыя пятна, отъ тѣхъ же ягодъ, на бѣлыхъ костюмахъ: отстирываются плохо. Двинулись дальше, выйдя на каменистое пыльное бѣлое шоссе. Черезъ нѣкоторое время оно стало подниматься въ гору, къ тому манящему зданію на огромной горѣ, въ которомъ находилась сигнальная станція, но которую всѣ почему то называли обсерваторіей. Сначала всѣ шли вмѣстѣ, бодро дыша воздухомъ, пропитаннымъ солнечными лучами, отмахиваясь отъ слѣпней и весело прислушиваясь къ назойливому треску цикадъ. Въ долинѣ дѣти отбились опять и побѣжали впередъ — они безъ устали щебетали и трещали, какъ цикады, но о чемъ — неизвѣстно, не разобрать... Сколько разъ ходили по этой дорогѣ, знали, какіе виды откроются за поворотомъ, но нельзя было вдоволь наглядѣться на эти скалы-холмы, покрытые то оливковыми рощами, то правильными полосами хлѣбовъ, за которыми блестятъ голубая гладь канала, бухты съ кораблями и озера съ силуэтами арабскихъ городковъ. И синее море у Бизерты, манящее, вызывающее, лгущее, и близкое, и недоступное. Всякій разъ, выйдя изъ скучныхъ улицъ лагеря на этотъ необъятный просторъ, хотѣлось вновь насмотрѣться и вобрать въ себя и теплый воздухъ, и солнце, и синія дали. Говорили мало, да и о чемъ говорить, обо всемъ уже переговорили, надоѣло, знаешь, что скажетъ сосѣдъ и о чемъ спроситъ. Тѣмъ не менѣе, по привычкѣ, подѣлились очередными новостями, весело побалагурили надъ послѣднимъ приключеніемъ въ Сфаятѣ, какъ украли изъ конюшни осла-Мишку и какъ на другой день его опознали на базарѣ въ Бизертѣ.

А дорога вышла на солнцепекъ, стала пыльной и неровной, подъемъ зигзагами на крутую гору сказывался замѣтнѣе, бѣлое шоссе надоѣдливо-утомительно слѣпило глаза. Замолчали. Каждый сталъ думать о самомъ непріятномъ въ своей настоящей жизни; и вся то она пока-

залась теперь утомительной и безцѣльной, какъ эта дорога съ арабскими поселками, пыльнымъ запахомъ масла, злыми и трусливыми собаками, со встрѣчными арабками въ бѣлыхъ тяжелыхъ плащахъ, торопливо семенящими за своими мужьями, сидящими на ослахъ и невозмутимо болтающими ногами. Палило солнце. Отъ мѣрныхъ шаговъ, отъ тяжелаго подъема появилась боль въ поясницѣ, потомъ гдѣ-то въ плечахъ и, казалось, что эта ноющая тяжесть въ плечахъ и есть тяжесть самой бѣженской жизни, ненужной здѣсь и казавшейся сплошнымъ недоразумѣніемъ среди африканскихъ кактусовъ и агавъ. Тяжелый подъемъ переходилъ во что-то привычное, чему не было конца... никогда не кончится эта дорога, африканская жизнь...

Такъ, всѣ четверо подошли къ каменнымъ воротамъ станціи стали обходить ея стѣны. Повернулись круто вправо и взглянули на пройденный путь: бѣлая дорога вилась лентой среди зеленыхъ полей, еще не сожженныхъ солнцемъ, огромный массивъ Джебель-Кебира былъ почти въ уровень — кажется можно было бы протянуть къ нему руку черезъ долину. Арабскія усадьбы - хутора, сады, виноградники отчетливо выдѣлялись по горнымъ склонамъ... Рѣзкій поворотъ стѣны влѣво, и, черезъ нѣсколько шаговъ по тропинкѣ, всѣ четверо остановились, какъ вкопанные. Имъ въ лицо ударили двѣ стихіи: небо и море. Какъ будто нельзя было сдѣлать шагу впередъ, чтобы не потонуть въ ихъ безбрежности — такъ онѣ были близки, почти касались ихъ. Начиналось море гдѣ-то глубоко внизу, подъ ногами, гдѣ играла и рябила пѣна, и уходило вверхъ, къ самой синевѣ съ облаками.

— Ну, вотъ мы и у мыса Бланко, самой сѣверной оконечности Африки, — громко сказалъ одинъ изъ взрослыхъ.

— А гдѣ же самый мысъ? — спросили дѣти.

— Какъ гдѣ? Внизу, бѣлая скала вдается въ море.

— Этотъ бѣлый длинный камень?

Голый, бѣлый хребетъ съ пережаблинкой посрединѣ словно нарочно былъ приставленъ къ берегу. Море набѣгало на его каменныя гряды и плескалось среди маленькихъ камней, хорошо сверху видимыхъ въ водѣ.

— Интересно, — процѣдилъ кадетъ. — Какой онъ маленькій, на него можно верхомъ сѣсть.

— А вотъ попробуй.

Черезъ нѣсколько минутъ всѣ четверо начали спускаться зигзагами къ морю.

Это было довольно трудно. Пришлось иногда руками цѣпляться за камни, чтобы не потерять равновѣсіе и не скатиться внизъ. И по мѣрѣ того, какъ уменьшалось разстояніе между ними и бѣлымъ камнемъ, онъ все росъ и росъ, и когда люди спустились къ морю, — они стояли у огромной скалы, глядя на нее снизу вверхъ и не рѣшаясь отъ усталости на новый подъемъ.

— Что, братъ Илюшка? полѣзай наверхъ и садись на мысъ верхомъ. А мы вотъ тутъ выберемъ мѣстечко на песочкѣ... Давайте немножко закусимъ, господа.

Черезъ нѣсколько минутъ всѣ сидѣли около просаленной бумаги и яичныхъ скорлупъ и старательно ѣли.

— Теперь, господа, мы ближе всего къ Европѣ, а значитъ и къ Россіи. Можно послать привѣтствіе, ну хоть вотъ на этой бумажкѣ отъ пирожка — пусть донесутъ волны.

Всѣ посмотрѣли на отброшенныя бумажки, которыя скатывались внизъ и подгонялись вѣтромъ къ морю, и продолжали ѣсть молча и сосредоточенно.

— Знаешь, о чемъ теперь я больше всего думаю, — сказалъ одинъ взрослый мужчина другому. Оба они теперь лежали на боку, подперевъ головы локтями.

— Вполнѣ возможно, что наша эмиграція — на десятки лѣтъ. Не возражай, пожалуйста, это вполнѣ вѣроятно! Мы, непримиримые, или перемремъ, или засох-

немъ. Но кто же послѣ насъ будетъ горѣть нашимъ огнемъ? Вѣдь просто жить заграницей, еще не значитъ быть эмигрантомъ. Изъ сотенъ тысячъ насъ, бѣженцевъ, ты подумай, сколько прекрасно устроится по эту сторону, войдетъ въ жизнь той страны, гдѣ живутъ... Нѣтъ, нѣтъ, подожди! Я знаю, что это тема старая, истасканная, но у меня есть, какъ будто, новыя мысли, вѣрнѣе ,что-то по новому подкатываетъ къ горлу, какое-то новое ощущеніе нашего состоянія захлестываетъ меня. Временами отъ этихъ думъ становится физически невыносимо.

Ты помнишь у Герцена: «Я завѣщаю мой тостъ моимъ дѣтямъ». Такъ вотъ, объ этихъ дѣтяхъ. Я не помню, не провѣрялъ, какъ было въ старой эмиграціи, но теперь я чувствую, что эмиграція, какъ идейный фактъ, будетъ дѣломъ только нашего поколѣнья, что наши дѣти не примутъ нашего тоста, потому что вообще духовная эмиграція по наслѣдству не передается, а затѣмъ — они Россіи не знаютъ — нѣкоторыя совсѣмъ, нѣкоторыя знаютъ плохо, а, главное, не знаютъ ея живой исторіи, гдѣ мы съ тобой живыя страницы. Всѣ эти старые юноши, которые сейчасъ отцовъ учить собираются, во время гражданской войны мало что видѣли и все въ какомъ-то искаженномъ отраженіи, и мнѣ бываетъ очень грустно, когда они судятъ, напр., интеллигенцію, они, политически рожденные въ вихрѣ столкновеній, активные дѣятели безъ исторіи, но. . . не о нихъ я. . . вотъ о нихъ.

Онъ указалъ на дѣтей, которыя сидѣли тутъ же и снимали съ шоколада цвѣтную бумажку.

— Вотъ моя Нюська. Вѣдь ты пойми — она Россіи не помнитъ, — это для нея какое-то пятно, которое расплывается все болѣе и болѣе. Пройдетъ нѣсколько лѣтъ, и она забудетъ русскій языкъ. Не мотай головой! Можетъ быть она его и не забудетъ, но что въ одномъ языкѣ? Ихъ юность пройдетъ совершенно въ другой об-

становкѣ, чѣмъ наша, у нихъ не будетъ ощущенія родины, ея запаха.

— А какъ же росли дѣти старой эмиграціи?

— Тогда было совсѣмъ другое. Тогда, напримѣръ, дочь самаго ужаснаго политическаго преступника могла все-таки свободно проѣхать въ Россію къ какой-нибудь своей тетушкѣ и жить тамъ, сколько угодно. А теперь? Что толку, что Нюська будетъ говорить по-русски, но языкъ этотъ будетъ для нея чужой... Ты пойми мой родительскій ужасъ передъ этимъ раздвоеніемъ—удѣломъ нашей судьбы: наши дѣти, въ сущности, тамъ, въ Россіи, дышатъ воздухомъ родины и питаются ея молокомъ, всѣ эти безбожники и хулиганы, они все-таки останутся русскими, а мы здѣсь растимъ иностранцевъ, говорящихъ по-русски... Ахъ, эти страны съ высокой культурой! Гдѣ-нибудь въ лимитрофахъ. . . тамъ есть коренныя русскія земли и наше русское небо надъ ними... Нюська,— почти умоляюще завопилъ онъ, — маленькая моя дѣвочка, неужели ты станешь намъ всѣмъ чужой и далекой!...

Нюська посмотрѣла на отца своими большими глазами и ничего не сказала. Она много разъ слышала отъ отца эти странныя слова о Россіи, видѣла, какъ онъ волновался всякій разъ, когда говорилъ о ней, сердился, что она не помнитъ, не знаетъ и не хочетъ знать своей родины. Да, она Россіи не знала, но въ маленькомъ мозгу это странное слово занимало довольно большое мѣсто. Здѣсь она жила совсѣмъ хорошо. У нея все было — и мягкая кроватка, и шоколадъ, и виноградъ, и финики, и родительскія ласки. Такихъ игрушекъ, какія она разъ видѣла въ окнахъ магазиновъ въ Бизертѣ, у нея, правда, не было, но за то она могла бѣгать по горамъ, гдѣ пасутся арабскія козы, и строить хижины за свинушникомъ, въ елочкахъ, гдѣ такъ прохладно и почти всегда посвистываетъ вѣтеръ. А иногда она катается въ шареткѣ на ослѣ Гришкѣ, когда ѣдутъ въ городъ за товарами для ла-

вочки. Она всегда сыта; правда, вѣчная фасоль надоѣла, кабачки тоже, но булочки на камбузѣ дѣлаютъ очень вкусныя. А взрослымъ все мало. Ночью, она проснется и слышитъ, какъ у стола, возлѣ маленькой лампы, сидитъ кто-нибудь изъ знакомыхъ и говорятъ, говорятъ — все о Россіи. Тамъ все лучше, вмѣсто кабинокъ дома, какъ въ Бизертѣ, лѣса, степи; значитъ и море красивѣе, и пляжъ... какъ можетъ быть пляжъ лучше? думала Нюська, засыпая. Какъ-то, въ Бизертѣ показывалась въ кинематографѣ картина изъ русской жизни. Нюськѣ передалось волненіе, которое захватило всѣхъ взрослыхъ. Съ нетерпѣніемъ ждала она того часа, когда войдетъ въ большой нарядный театръ Гарибальди (трудно запомнить) и, когда потушатъ свѣтъ, увидитъ Россію. Она была до слезъ разочарована, когда вмѣсто красивыхъ и волшебныхъ картинъ, она увидала скучные виды, такіе неудивительные, простые въ сравненіи съ яркими картинами Индіи, которыя показывались въ тотъ же вечеръ... Сама она кое-что помнила о Россіи, но это... какъ во снѣ, и тоже очень скучно, и тѣсно, тѣсно. Узлы, чемоданы, спятъ, не раздѣваясь. Всѣ вѣчно куда-то ѣдутъ. Все-таки, больше всѣхъ сказокъ она любила слушать, какъ говорятъ о Россіи. Она почти ничего не понимала изъ воспоминаній взрослыхъ, но когда говорили о старыхъ деревьяхъ въ саду, о варкѣ варенья подъ липами, объ играхъ въ снѣгу (непонятно, но очень весело) — она смутно ощущала, какъ хорошо складывались слова въ разсказахъ и пріятно баюкала рѣчь...

Нюська съ кадетикомъ возились на берегу, среди камней, ловя крабовъ, ковыряясь въ заплывшемъ въ пескѣ тростникѣ. Платьице ея испачкалось, туфли намокли и на ногѣ разъѣло соленой водой болячку отъ укуса москитовъ. Нюськѣ было занятно, но думала она не о крабахъ, не о песочныхъ водоемахъ. Ей было жаль отца, который такъ много спорилъ съ другимъ взрослымъ

и не сошелъ внизъ, къ морю, а остался тамъ, среди колючихъ кустарниковъ, около мясистыхъ вѣтвей цвѣтка Вѣдьмины Когти. Нюська часто посматривала, щурясь отъ солнца, наверхъ, на двѣ бѣлыя фигуры. Одна изъ нихъ поднялась, спустилась къ мысу и, присѣвъ на корточки, стала рыться въ бѣлыхъ камешкахъ и ракушкахъ. Отецъ остался лежать, закрывши лицо шляпой. Спитъ онъ? А можетъ быть...

Вдругъ Нюська отбросила маленькую чурочку на песокъ въ прозрачную пленку набѣжавшей волны и стала подниматься наверхъ, дорогой счищая съ рукъ песокъ и вытирая ихъ о края платьишка. Она подошла къ отцу, сѣла около него на горячій песокъ, обхватила его шею рученками и, прижавшись къ нему всѣмъ своимъ тѣльцемъ, пахнувшимъ моремъ и тиной, протянула:

— Разскажи, какъ ты былъ маленькій.

Знакомая была эта просьба, не частая. Ее нужно было исполнить немедленно, пока не остыло настроеніе слушать...

— О чемъ же разсказать, Нюсенька?

— Какъ учился.

— Давно это дѣло было. Мнѣ кажется, что это былъ не я, что это я все изъ книжекъ вычиталъ.

Онъ потеръ лобъ, словно затрудняясь, съ чего начать.

— Ты знаешь, что меня приходилось отвозить въ гимназію, за сто верстъ отъ нашего села. Слушай. Лѣто проходитъ. Жаркихъ дней все меньше. Озера мелѣютъ, дно видно. Любилъ я окуней ловить — въ это время они такіе жадные бываютъ. Яблоки поспѣваютъ. Ты помнишь, за озеромъ, за липовой рощей? Впрочемъ... Ну, хорошо... Приходитъ время собираться въ городъ. Воспоминаніе объ этомъ всегда было непріятно. Съ Ильина дня у насъ перестаютъ купаться: вода холожать начинаетъ — такъ моя нянька говорила, — а послѣ Ильина

дня я уже зналъ — недолго мнѣ гулять... Отвозили меня на своихъ лошадяхъ. Ѣхали съ ночевкой. Обыкновенно, мы кормили лошадей часа два въ большомъ селѣ, на станціи, а ночевали въ Хохлахъ, въ тридцати верстахъ отъ города. Знаешь, Нюська, что было самое пріятное въ этихъ лѣтнихъ поѣздкахъ? Видѣть утро и встрѣчать восходъ солнца. Помню, въ Хохлахъ, легли мы спать на верандѣ и подняли насъ еще затемно. Воздухъ свѣжій, вода въ умывальникѣ холодная. . . А деревня просыпается. Дымкомъ тянетъ — папа говорилъ, что можно угорѣть, проѣзжая деревней. Ворота скрипятъ, бабы коровъ въ стада выгоняютъ. Пока мы пьемъ молоко и закусываемъ, тутъ уже запрягаютъ, лошади фыркаютъ. . . Поѣхали. Сидишь въ телѣжкѣ и каждый кусочекъ примѣчаешь. И вотъ. . . свѣтаетъ и солнце встаетъ. . . Это все видѣть надо, Нюсенька.

Дѣвочка слушала съ широко раскрытыми глазами, но смотрѣла куда-то въ себя, странно поворачивая головой.

— Говори, говори, — нетерпѣливо сказала она.

— А вотъ домой возвращаться! Почему-то я больше всего любилъ пріѣзжать домой на святки. Какъ жаль, моя дѣвочка, что ты этого не испытаешь... Представь — распустили на праздники. Прежде всего въ городъ доставляются теплыя вещи: тулупы, мѣховыя одѣяла, валенки. Все это знакомое, свое. Самое одѣваніе въ дорогу смѣшное. На ногахъ нѣсколько паръ шерстяныхъ чулокъ, да валенки, сверхъ шинели отцовская шуба, рукава висятъ, шапка съ ушами, сверху башлыкъ. Двигаться я уже не могъ и меня, какъ большую куклу, несли и усаживали въ сани. И представь, проѣдешь часа два и замерзаешь. Чувствуешь — въ какую-то точечку дуть начинаетъ и никакъ не закроешься отъ холода, или ноги стыть начнутъ, какъ ни двигай — не согрѣешь. Ждешь не дождешься станціи. А на станціи печка жарко на-

топлена, а у лежанки тараканы ползаютъ, усами шевелятъ.

Онъ остановился и протянулъ два пальца къ шеѣ дѣвочки, словно желая изобразить таракана съ усами. Нюська вздрогнула, будто проснулась.

— Да ну, говори же!

Ему и самому теперь хотѣлось объ этомъ говорить, безъ конца.

— Какъ хорошо пріѣзжать домой, въ родной домъ! Подъѣзжаемъ къ деревнѣ совсѣмъ ночью. Изъ за поднятаго мѣхового воротника вижу только краешекъ неба и спину ямщика. Клюешь носомъ и ничего не соображаешь — будто сто лѣтъ ѣдешь. Вдругъ — гдѣ-то собаки лаютъ, ближе, ближе. Слышу, что уже въѣхали въ деревню. Что есть силы отгибаю воротникъ, смотрю — огоньки въ избахъ, народъ попадается, иногда компанія парней съ гармошкой... Тутъ скоро и наша усадьба. Пріѣхали. Выбѣгаетъ нянька. Вынимаетъ меня изъ саней, вносятъ въ прихожую (а морозный воздухъ такъ и стелется по полу, пока вещи вносятъ), посадятъ на ларь и начинаютъ разоблачать. Ну, разспросы безъ конца. И хочется узнать сразу обо всемъ. Всякій разъ, какъ я пріѣзжалъ домой (это у меня осталось на всю жизнь), я первымъ дѣломъ обходилъ весь домъ. Я разсматривалъ каждый его уголокъ и сразу замѣчалъ, гдѣ перевѣшана картина, переставленъ цвѣтокъ, лампа. Я узнавалъ каждую вещь и здоровался съ ними, какъ съ живыми, трогалъ, гладилъ, разспрашивалъ...

Дѣвочка слушала, сидя передъ отцомъ на пескѣ, спиной къ морю, къ чудесному повороту шоссе на Корнишъ и смотрѣла куда то въ горы, за которыя уже заходило солнце. Она слушала, не понимая многихъ словъ и не желая спросить объ ихъ значеніи, точно чувствуя, что этимъ нарушится все обаяніе отцовской рѣчи.

— И уѣзжать со святокъ домой было весело. Насъ подбиралась цѣлая компанія: гимназисты, семинаристы, одинъ техникъ. Готовили намъ подорожниковъ, большую корзину. Ѣхали цѣлымъ поѣздомъ, саняхъ въ трехъ, четырехъ. Вотъ весело было, особенно на станціяхъ, гдѣ кормили лошадей и ночевали! Представь себѣ: деревенская изба, божница въ углу съ обязательнымъ мѣднымъ крестомъ, клеенка на столѣ съ изображеніемъ какихъ-то рыбъ. Высоко виситъ маленькая, коптящая лампа подъ жестянымъ абажуромъ. Вваливаемся мы гурьбой и сразу наполняемъ всю избу. Разминаемъ руки и ноги, а потомъ принимаемся за корзинку. Чего только тамъ не было: ветчина, булки, пирожки съ мясомъ, пирожки съ вареньемъ, варенье въ баночкахъ, песошники, но самое главное кушаніе — пельмени. Ты не знаешь? Мы какъ-нибудь сдѣлаемъ—въ родѣ вареников съ мясомъ. Ихъ дѣлали нѣсколько сотъ, замораживали въ мѣшокъ, словно голышки. А потомъ разогрѣвали на разный манеръ — это было самое вкусное и интересное. Послѣ ужина затѣвали какія-нибудь игры, пѣли, у одного была гитара, въ карты играли. Спать не хотѣлось, да и укладываться было долго. Прямо на полу, подъ лавками, разстилалось мѣховое одѣяло, на него набрасывались шубы, чапаны, подушки и ложились всѣ рядомъ. Потушатъ лампу, а мы еще долго въ темнотѣ разсказываемъ всякія исторіи, до пѣтуховъ...

— Государи мои, пора идти. Солнце почти сѣло.— Спутники подходили, нагруженные всевозможными сувенирами: камешками, раковинками и проч. — Къ ужину опоздаемъ навѣрное, а я какъ нарочно свой бакъ оставилъ на камбузѣ, придется надоѣдать полковнику.

Черезъ нѣсколько минутъ, бросивъ машинально пристальный взглядъ на море, тронулись, одинъ за другимъ, между кустовъ на дорогу. Выйдя на шоссе, всѣ остановились и оглянулись.

— Господа, а гдѣ же Нюська?

Всѣ невольно обернулись къ мѣсту стоянки и увидѣли дѣвочку, бѣгущую къ мысу.

— Нюська, куда ты? — закричало нѣсколько голосовъ.

Но Нюська ничего не отвѣчала. Черезъ минуту ея голубенькое платьице замелькало на бѣлыхъ скалахъ мыса. Всѣ съ удивленіемъ дожидались, что будетъ дальше. Нюська вскарабкалась на самый гребень, быстро подбѣжала къ самой крайней точкѣ мыса, спустилась внизъ, перескочила на камень, кругомъ котораго бурлила пѣна, и остановилась, протянувъ руки къ морю.

— Милая Россія! — прокричала Нюська. — Ты слышишь? До свиданья!

Потомъ она сдѣлала какой-то знакъ рученкой и быстро побѣжала назадъ къ ожидавшей ее компаніи.

ГРѢХЪ.

Поручикъ Метелкинъ раздвинулъ одѣяла — занавѣски своей кабинки — и темнымъ коридоромъ вышелъ изъ барака.

Прошелъ штормъ. Три дня ревѣлъ сѣверо-западный вѣтеръ, стучалъ по черепицамъ барака, съ воемъ распахивалъ двери, задувая лампы и раскачивая суконныя перегородки. Съ высоты лагеря, днемъ, можно было видѣть, какъ волновалось море, клокоча пѣной на пляжѣ. Теперь вѣтеръ стихъ, но въ ночной тишинѣ стоялъ непрерывный, мощный гулъ — ревѣло море.

Метелкинъ сѣлъ на камень и прислушался. Никогда онъ не ощущалъ такъ моря и не боялся его, какъ ночью, въ бурю, когда его не было видно, но зловѣщій шумъ все время стоялъ въ ушахъ и напоминалъ о безднѣ, которой не было конца и рядомъ съ которой Метелкинъ чувствовалъ себя до жути одинокимъ и беззащитнымъ. Рядомъ съ этимъ гуломъ, идущимъ откуда-то изъ нѣдръ, все казалось ничтожнымъ, мелкимъ: и бараки Надора, и многія сотни русскихъ — невольные гости Африки. Мрачно здѣсь, въ этихъ утомительныхъ баракахъ, похожихъ одинъ на другой, какъ вагоны товарнаго поѣзда. По ту сторону лагеря — землянки съ палатками. Во время зимнихъ вѣтровъ ихъ срывало, и тогда люди мокли подъ дождемъ. А еще дальше, по дорогѣ въ Сенъ-Жанъ, видны остатки лагеря, въ которомъ жили сербы, тоже —

изгнанники. Есть въ Бизертѣ цѣлое сербское кладбище — тамъ могилы расположены стройными рядами. И вспомнилъ Метелкинъ, что уже есть уголокъ на городскомъ кладбищѣ, у бѣлой стѣны, гдѣ множатся кресты съ русскими надписями. Метелкинъ задумался... Можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ отрѣзанъ путь? Впереди еще цѣлая жизнь, но это уже... по другому... просто существованіе... чтобы жить. Но Метелкинъ за годы безконечныхъ войнъ, въ которыхъ прошла его юность, не привыкъ къ личной жизни. Онъ все время былъ связанъ съ какимъ-нибудь общимъ, мірскимъ дѣломъ, для котораго работалъ и, которому отдавалъ свое здоровье. Это сдѣлалось его профессіей, жестокой, безысходной, но... такъ уже пришлось. Это дѣло наполняло все его сознаніе, потому что оно было, какъ воздухъ, которымъ всѣ дышали...

Какъ гудитъ море... Огромный, грозный голосъ, словно голосъ Божій, неусыпно сторожитъ и не даетъ забыться, успокоиться.

Была Страстная недѣля. Метелкинъ любилъ эти дни, весенніе, грустные, обвѣянные романтикой дѣтства и предчувствіемъ близости тайны... Кажется, въ первый разъ въ жизни онъ проводилъ эти дни не въ суетѣ домашней сутолоки пріятной, милой, но когда, кажется, немного думаютъ о Богѣ. Теперь же онъ одинъ, какъ есть одинъ, среди всѣхъ этихъ сотенъ знакомыхъ. Разстроилась вся машинка: ноги дѣлаютъ одно, руки — другое, голова —третье. Сиди — думай, ходи — думай. И все, въ конечномъ счетѣ, — объ одномъ. Метелкину стало казаться, что не даромъ это одиночество — не всегда же... всѣмъ вмѣстѣ, массой, колонной на улицѣ, разсыпнымъ строемъ въ полѣ, то — за большимъ обѣденнымъ столомъ, то—въ лазаретѣ — среди сотенъ коекъ. А теперь, хоть вмѣстѣ всѣ живутъ, а всѣ одиноки, каж-

дый самъ себѣ предоставленъ, своимъ думамъ, страшнымъ и надоѣдливымъ.

Говорятъ, когда идешь исповѣдываться, надо оглянуться на свою жизнь, найти въ ней грѣхи и признаться въ нихъ. Метелкинъ пытался возстановить и нанизать цѣпью событія послѣднихъ лѣтъ его жизни. Это было почти невозможно: скакали мысли, мелькали картины, трогательное мѣшалось со смѣшнымъ, святое съ пьянымъ. Болѣе всего остались въ памяти послѣдніе военные годы. Чѣмъ больше вглядывался въ нихъ Метелкинъ, тѣмъ больше чувствовалъ какую-то раздвоенность. Много было моментовъ, которые поражали на всю жизнь, измѣняли невольно все внутреннее зрѣніе, калѣчили душу, но словно это было внѣ его, Метелкина, сознанія. Онъ не осмысливалъ событій своей жизни, словно это кто-то другой жилъ, воевалъ, валялся въ сыпнякѣ на мѣшкахъ въ теплушкѣ, купался въ зажорахъ въ грязной снѣжной водѣ, иззябшій и голодный ругался скверными словами и съ револьверомъ въ рукѣ требовалъ ночлега у смотрѣвшаго волкомъ мужика... А онъ, Метелкинъ, ходилъ рядомъ съ другимъ и только все примѣчалъ...

...Зимой, съ отрядомъ конной части онъ входилъ въ еврейское мѣстечко. Одноэтажные домики, запушенные снѣгомъ, пришипились, на улицахъ пусто. Небо было въ свинцовыхъ тучахъ, но подъ вечеръ, на нѣсколько минутъ, выглянуло солнце, красное и грустное и заиграло на окнахъ. Въ это время по улицѣ мимо Метелкина прошла молодая еврейка, съ красивыми глазами, въ короткой шубкѣ, съ мѣховымъ воротникомъ. Метелкину вдругъ мучительно захотѣлось этой дѣвушки... Черезъ два дня былъ погромъ. Метелкинъ почему-то былъ увѣренъ, что эта дѣвушка погибла, и жалѣлъ, что не прижималъ ее къ своей груди.

Метелкинъ ненавидѣлъ большевиковъ, но къ гражданской войнѣ привыкнуть не могъ. Бывало, въ ту войну, плѣнныхъ угощали, а здѣсь ихъ уничтожали, какъ заразу. Какъ-то, подъ Купянскомъ, послѣ небольшой перестрѣлки, человѣкъ пять солдатъ были пойманы въ хлѣбахъ и отведены къ коменданту отряда. Добродушный полковникъ сначала старался выяснить, что это за люди, но все отвлекался, а потомъ досадливо махнулъ рукой: «Да, ну ихъ»... Черезъ нѣсколько минутъ Метелкинъ увидѣлъ, какъ люди въ одномъ бѣльѣ, босикомъ, пошли за околицу, за ними солдаты съ винтовками, на ходу перекидываясь короткими фразами. Метелкинъ отошелъ къ плетню, похолодѣвшій, съ ужасомъ смотрѣлъ, какъ конвойные, затянувшись цыгарками, передавали ихъ врагамъ, а сами отходили, щелкая затворами. Онъ закрылъ глаза и ясно представилъ себѣ, какъ послѣ залпа, стоитъ этотъ офицеръ, схватившись за колья плетня, чтобы не упасть...

Позднѣе, на огромной, черной отъ грязи и угля, палубѣ броненосца «Генералъ Алексѣевъ», ему указали на одного солдата восточнаго типа, который, какъ говорили, разстрѣливалъ людей десятками. Какъ-то, лунной ночью, Метелкинъ увидѣлъ его, стоявшаго одного у борта. Кто онъ былъ — солдатъ, матросъ — не разберешь въ англійской шинели. Высокая фигура съ огромными руками и ногами. О чемъ онъ думалъ, этотъ человѣкъ, пристально смотрѣвшій въ свѣтящуюся воду? Метелкинъ не помнитъ, какъ заговорилъ съ нимъ, спросилъ, но его удивилъ простой и ясный отвѣтъ: «А мнѣ-то что же! Начальство приказало, значитъ и все!» Про него же разсказывали, какъ онъ, будучи денщикомъ, въ глухомъ углу сада угрожающимъ жестомъ остановилъ одного господина, снялъ съ него сапоги и принесъ ихъ своему барину...

А вотъ набережная Севастополя, запруженная сверху до-низу народомъ. Эскадра готовится къ эвакуацiи, толпа гудитъ. Тутъ всякой ругани не запомнишь, но твердо помнитъ Метелкинъ, когда онъ, торопясь къ пристани, проѣзжалъ на грузовикѣ мимо какой-то лавченки, какъ изъ нея выскочилъ худой, благообразный старикъ, въ жилетѣ, съ выпущенной рубашкой и, поднимая руки, закричалъ вслѣдъ: «Господи, да потопи Ты ихъ!»...

И вдругъ Метелкину стало ясно, что тотъ другой Метелкинъ, который въ его снахъ на яву стоялъ, какъ живой передъ его глазами, дѣйствительно — онъ самъ, и что пришло время дать совершенно прямой отвѣтъ въ томъ, что онъ думалъ и дѣлалъ, при томъ — это ясно стало до жути — нельзя, невозможно спрятаться за кого либо, прикрыться чьимъ-нибудь авторитетомъ. — Мы слишкомъ много думали о судѣ земномъ и очень мало о судѣ небесномъ,—промелькнуло у Метелкина, и онъ почувствовалъ, что душа его совсѣмъ обнажается, и по мѣрѣ того, какъ онъ сбрасывалъ съ себя мелкiе покровы относительности, земной правды и порядка, въ немъ росло сознанiе отвѣтственности и страстная жажда искупленiя. На одинъ мигъ Метелкинъ вздрогнулъ и понялъ, что онъ сейчасъ думаетъ передъ самимъ Богомъ, и ему показалась кощунственной и наивной мысль ссылаться на присягу, своды узаконенiй, распоряженiя начальства, какъ будто какой-нибудь приказъ по батальону могъ теперь, въ этотъ моментъ, снять съ него вины, какъ снималъ раньше въ этой жизни.

Метелкинъ догадался, откуда эти мысли. Сегодня вечеромъ онъ собирался къ исповѣди.

— Хорошо, что я такъ думаю, — подумалъ про себя Метелкинъ. — Надо стараться сдѣлать это не формально, а глубже... Можетъ быть, скажу...

И онъ старался не отогнать отъ себя это состоянiе вмѣняемости, считалъ его цѣннымъ, почти священнымъ

и, когда на валахъ Джебель-Кебира раздались мѣрные и рѣзкіе удары колокола, Метелкинъ сталъ спускаться въ долину. Онъ шелъ быстро, по привычкѣ, обычной дорогой по шоссе мимо Айнъ-Берды. Подъ горой было совсѣмъ тихо, только когда отъ маслины, имѣющей форму верблюда, онъ круто повернулъ направо—потянулъ легкій вѣтеръ съ моря.

Пройдя желѣзныя ворота и ровъ форта, Метелкинъ вошелъ въ каменный коридоръ и сразу былъ оглушенъ молодой и бурной жизнью Морского Корпуса. Шли приготовленія къ празднику. На дворѣ лежали въ безпорядкѣ какія-то доски, гимнастическіе приборы, кровати. Кадеты, полуодѣтые, бѣгали, стуча танками по гулкимъ подземнымъ галлереямъ, чистили платье, посуду — все это съ шумомъ, по молодому, весело...

Церковь помѣщалась въ одномъ изъ казематовъ въ концѣ длиннаго коридора. Служба еще не началась, но хоръ былъ въ сборѣ, на клиросѣ монотонно читали и въ слабо освѣщенномъ алтарѣ слышны были спѣшныя приготовленія. Предъ образами зажигались лампадки. Справа, въ особомъ кіотѣ помѣщалась мѣстная икона Богоматери съ трогательнымъ названіемъ: «Радость страннымъ». Передъ ней всегда горѣла лампада, а теперь мигало множество свѣчей, которыя освѣщали багряный ликъ иконы и надъ ней оранжевый шелкъ съ зелеными вѣтками вереска.

Метелкинъ всталъ сзади, у стѣны, возлѣ узкой амбразуры окна. Служилъ какой-то незнакомый священникъ, высокій, сѣдой, съ длинными, почти бѣлыми волосами.

Во все время службы Метелкину было необыкновенно хорошо. Какъ мирно въ церкви! Нѣтъ рѣзкости, неожиданностей, дѣйствительно знаешь, что найдешь и, несмотря на тысячелѣтнюю давность словъ, какъ много въ нихъ новаго и свѣжаго. Метелкинъ многаго не пони-

малъ въ богослужебныхъ словахъ, но развѣ такъ обязательно нужно ихъ понимать? Кто хочетъ — ищи ихъ смысла, но развѣ такія слова, какъ «свѣте тихій», «свѣтъ вечерній» — не отклики душевныхъ переживаній? Развѣ нужно искать смысла въ словахъ акаѳиста Богородицѣ, когда все дѣло здѣсь въ музыкѣ, въ потребности пышнымъ неудержимымъ словеснымъ водопадомъ замѣнить и громы трубъ, и бой барабановъ, и аплодисменты толпы въ честь Пречистой Дѣвы...—Какая культурная сила— церковь! — размышлялъ Метелкинъ и представилъ, сколько такихъ огоньковъ свѣтилось на Руси, и не ради философскаго смысла молитвъ, а ради этого мира душевнаго шли сюда и князья, и бояре, и мужики — въ древнія времена половецкихъ налетовъ и вѣковыхъ междоусобицъ, и что только ни несло сюда — отъ хитрой политической распри до мелкой бабьей ссоры!..

Когда, послѣ службы, началась исповѣдь, и кадеты, одинъ за другимъ, стали подходить къ черному аналою у клироса, Метелкинъ какъ-то забезпокоился.

— Скажу или не скажу? — думалъ онъ и рѣшилъ, что тамъ видно будетъ.

Временами онъ обращалъ вниманіе на однообразныя слова священника, долетавшія изъ темнаго угла церкви. Однообразіе какъ-то притупляло чувство.

— Сколько разъ онъ скажетъ одно и то же, — подумалъ Метелкинъ про священника. Гимназистомъ, въ приходской церкви онъ видѣлъ даже готовый списокъ грѣховъ на листочкѣ, которымъ для удобства и скорости можно было пользоваться. Но нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, ему одному съ каждымъ бесѣдовать подолгу. А въ сущности, думалъ Метелкинъ, каждому нужно было бы искать своего духовника, который бы жизнь его узналъ и понялъ ее. Хорошо бы такъ, пожить съ какимъ-нибудь старцемъ, вмѣстѣ за водой ходить къ колодцу подъ березкой, капусту поливать. Сидѣть на солнышкѣ у

бревенчатой часовенки, побалагурить надъ воробьемъ... да подольше глядѣть въ синіе старческіе глаза. И вотъ тутъ то, не сразу, а много разъ свою душу раскрыть...

Очередь учащихся быстро таяла. Въ хвостѣ кадетовъ стояли одинъ офицеръ и штатскій. Въ сторонѣ — двѣ дамы, тоже, должно быть, исповѣдницы; одна изъ нихъ положила нѣсколько земныхъ поклоновъ передъ иконой. Все это почему-то отвлекало и разстраивало Метелкина. Онъ сталъ собираться съ мыслями и подбирать слова. Слова не складывались...

Подходило время Метелкину. Онъ сдѣлалъ нѣсколько шаговъ впередъ и посмотрѣлъ на маленькій коврикъ подъ аналоемъ. «Какъ бы не оступиться — на подметкахъ гвозди повылѣзли»...

Метелкинъ подошелъ къ аналою и, накрытый эпитрахилью, почувствовалъ запахъ ладана и воска. Священникъ тихимъ воркованіемъ предлагалъ вопросы и, не дожидаясь отвѣта, говорилъ дальше. Метелкинъ, стоя съ неловко наклоненной головой, хотѣлъ начать говорить о себѣ, но не находилъ времени, да и словъ подходящихъ не было на языкѣ, — и это его волновало, что вотъ онъ не успѣетъ ничего сказать, уйдетъ безъ того, за чѣмъ пришелъ, и, когда онъ услышалъ спокойный вопросъ — нѣтъ ли у него какихъ-нибудь тяжкихъ грѣховъ, — почти громко сказалъ: «Есть, есть, батюшка! Я участвовалъ въ... войнѣ».

Метелкинъ слышалъ, какъ дрогнула на его головѣ рука священника и сейчасъ же раздался успокоенный голосъ: «Что вы другъ мой»!.. Нѣтъ въ томъ грѣха. Видитъ Богъ»... И Метелкинъ услышалъ знакомые аргументы, которые онъ много разъ слышалъ отъ другихъ, и ему самому они неоднократно приходили въ голову. Но сознаніе грѣховности шло откуда-то изъ глубинъ его духа, сжимало, какъ тисками, и мучило его, и, сознавая, что дѣлаетъ что-то невозможное, но неизбѣжное, онъ бы-

стро началъ возражать священнику. Тутъ же не узналъ своего голоса Метелкинъ и слова были не тѣ, неудачныя, безцвѣтныя, неубѣдительныя. Священникъ говорилъ. Метелкинъ его перебивалъ, невольно возвышая голосъ, сознавая, что оба они не понимаютъ другъ друга, что неумѣстенъ вообще этотъ споръ, и вдругъ почувствовалъ, похолодѣвъ, что не владѣетъ собой, что сейчасъ должно произойти что-то непоправимое и что-то страшное откроется его внутреннему видѣнію...

Метелкинъ слышалъ, какъ выпрямился священникъ, ему даже почудилось, что церковь наполняется народомъ, что онъ не можетъ всѣхъ убѣдить, переспорить...

— Пришелъ конецъ, — мелькнуло у Метелкина, и ему захотѣлось громко, въ истошный голосъ кричать, что ему больно, что нѣтъ силъ терпѣть эти муки. Горло ему сдавило, въ глаза словно кровь хлынула.

— Господи, Господи, — завопилъ Метелкинъ и грохнулся на колѣни. Онъ обхватилъ руками внизу деревянныя брусья аналоя и, весь вздрагивая, какъ въ судорогахъ, чуть слышалъ торопливыя слова... и азъ, недостойный іерей... властью мнѣ данной... разрѣшаю и отпускаю ти, чадо...

. . . .

Стараясь ни на кого не смотрѣть, дрожа, пошелъ изъ церкви Метелкинъ. Въ коридорѣ онъ вспомнилъ, что забылъ фуражку, вернулся,励 мелькомъ услышалъ какія-то слова о нервахъ и быстро пошелъ по коридору, обгоняемый кадетами съ жестяными баками и кружками въ рукахъ.

Выйдя на площадку передъ фортомъ Метелкинъ нѣсколько разъ глубоко вдохнулъ влажный воздухъ ночи. Въ темнотѣ горѣли звѣзды и блестящія розсыпи огней Бизерты. Далеко, въ горахъ за озеромъ по тунисской дорогѣ ярко вспыхивалъ костеръ.

Не надѣвая фуражки, Метелкинъ тихо пошелъ по шоссе. Ему хотѣлось идти какъ можно дольше. Въ передвиганіи ногъ было что-то опредѣленное и необходимое, и, горбясь, нетвердо ступая дрожащими ногами, спотыкаясь, Метелкинъ несъ свое мертвое тѣло. Дорогой онъ ни о чемъ не думалъ, только часто вздыхалъ, безъ конца повторяя слова, въ родѣ: да, такъ-то, вотъ оно что и т. д.

Незамѣтно передъ нимъ выросла водокачка лагеря. Грузно опустившись на камень, Метелкинъ почувствовалъ, какъ его ноги сдѣлались свинцовыми. То, что произошло, онъ не могъ охватить: тѣ нѣсколько минутъ казались большимъ временемъ и будто бы то былъ другой Метелкинъ, родной и жалкій... чудакъ...

Метелкинъ сидѣлъ часъ, другой, не думая, безъ мысли. Все, что его волновало нѣсколько часовъ назадъ, казалось ему теперь далекимъ и безразличнымъ. Съ одинаковымъ равнодушіемъ онъ смотрѣлъ и на группы бѣженцевъ, снующихъ по улицамъ лагеря, съ разговорами и смѣхомъ у раскрытыхъ дверей, и на освѣщенныя окна, которыя гасли одно за другимъ, равнодушно слушалъ шумъ моря и пыхтѣніе автомобиля на дальней дорогѣ...

Ему показалось, что онъ задремалъ, Метелкинъ зѣвнулъ и поежился отъ холода.

— Спать, — проговорилъ онъ, всталъ и, пошатываясь, побрелъ къ своему бараку.

БЕЗПОКОЙНОЕ ДЕЖУРСТВО.

Фортъ залитъ солнцемъ, весеннимъ, яркимъ, веселымъ. Не спрячешься отъ него, не убѣжишь. Оно найдетъ и подъ навѣсомъ, гдѣ стоитъ походная кухня, и въ полутемныхъ казематахъ, каменныхъ мѣшкахъ подъ земельной крышей, съ узкими амбразурами вмѣсто оконъ — къ вечеру и тамъ будетъ душно. Какъ много радости въ солнцѣ, въ переливчатой игрѣ, особенно, если подняться на валы Джебель-Кебира утромъ, когда еще не сошла роса и блеститъ въ густыхъ складкахъ цвѣточныхъ клубковъ. Какія краски подарила африканская весна! Каменныя стѣны крѣпостныхъ рвовъ, какъ плюшемъ покрыты Вѣдьмиными когтями, и мясистыя вѣтви словно дышатъ. Валы унизаны цвѣтами — сплошной разноцвѣтный коверъ, цвѣты растутъ цѣлыми полосами, вотъ гряда бѣлой ромашки, вотъ желтые, вотъ синіе колокольчики, а среди нихъ качаются словно пьяные, мохнатые маки. Если посмотрѣть внизъ, въ долину и по склонамъ горъ, среди правильныхъ прямоугольниковъ зеленей хлѣбовъ выдѣляются сплошныя красныя массы — то маковъ цвѣтъ рдѣетъ на солнцѣ и хохочетъ. Зеркаломъ блеститъ ровная гладь канала, блестятъ бѣлые арабскіе городки въ фіолетовой дымкѣ горъ. А море играетъ и нѣтъ конца этому блеску и веселью...

Сегодня весело, очень весело на форту, въ Морскомъ Корпусѣ. Послѣдній день годовыхъ занятій. Какія ужъ

занятія въ послѣдній день — такъ, разговоры одни будутъ, да развѣ безнадежное сутяжничество о годовыхъ отмѣткахъ. Кадеты народъ ловкій и наблюдательный. Они знаютъ, какому преподавателю какой вопросъ задать, чтобы протянуть время. Для этого въ каждомъ классѣ есть спеціалисты по каждому предмету: глупость спросить нельзя, нужно подготовиться къ вопросамъ. Математикъ ловится на новыхъ доказательствахъ теоремъ и какихъ-то тамъ частныхъ случаяхъ, батюшка любитъ говорить о патріархѣ, словесникъ — о новомъ правописаніи, историкъ — о раскопкахъ въ Египтѣ. — «А скажите, г-нъ преподаватель, — встаетъ кадетъ, на лицѣ котораго написана чрезвычайная озабоченность, — говорятъ, уже извѣстны результаты вскрытія комнаты съ гробницей Тутъ-Анкъ-Амона? Насъ крайне интересуетъ»... Стрѣляный воробей историкъ досконально знаетъ эти штуки. Сначала скажетъ: «сидѣть», а потомъ, не успѣлъ занести отсутствующихъ въ журналъ, слово за слово, уже сообщаетъ то, что читалъ на дняхъ въ газетахъ или иллюстрированномъ журналѣ. Жадно слушаютъ кадеты — «здорово» интересно, — смотришь — полчаса уже проскочило...

Но сегодня даже не нужно прибѣгать къ подобной провокаціи. О классахъ уже никто не думаетъ, преподаватели вышли изъ Сфаята съ опозданіемъ, такъ что удивленный Чарли долго стоялъ на перекресткѣ, помахивая хвостомъ, не зная, что и подумать. А пришли всѣ на фортъ, долго стояли на площадкѣ передъ воротами. Тутъ было много офицеровъ и кадетъ. Въ морѣ — зрѣлище. Въ Бизерту пріѣхалъ маршалъ Петэнъ и для него производится орудійная стрѣльба по цѣли. Въ морѣ плавалъ какой-то щитъ и время отъ времени среди скалъ, по ту сторону канала, вспыхивалъ яркой точкой огонь, и сейчасъ-же въ морѣ вскидывался водяной столбъ, и море въ этомъ мѣстѣ курчавилось, и какъ бы въ от-

вѣты — глухой, тупой ударъ раскатывался по горамъ и расползался по долинѣ. Стрѣляли и залпами — это было еще интереснѣе. На краю обрыва офицеры съ биноклями, кадеты перекидывались своими замѣчаніями послѣ каждаго выстрѣла и напряженно дожидались слѣдующихъ залповъ, снисходительно давая штатскимъ техническія объясненія.

Незамѣтно прозвучалъ сигналъ: «движеніе впередъ» —

Тятенька у маменьки
Стащилъ кусокъ телятинки.
Дай! дай! дай!

Никто не тронулся съ мѣста и самъ горнистъ, выйдя за валъ, любопытствуя, сталъ приближаться маленькими шажками къ откосу, посматривая въ море. Черезъ нѣсколько минутъ у воротъ форта показался дежурный офицеръ, молодой мичманъ Юліусъ, въ черныхъ брюкахъ и бѣломъ кителѣ, съ кортикомъ.

— Почему здѣсь? — крикнулъ онъ громко. — Маршъ въ классы!

Кадеты лѣниво, нехотя потянулись въ ворота, намѣренно задерживаясь, стараясь завязать разговоръ съ преподавателями.

Офицеры переглянулись.

— Нервничаетъ Юліусъ.

— А вы не волнуйтесь, г-нъ мичманъ, — покровительственно протянулъ кадетъ, размахивая горномъ.

— Прошу со мной такимъ тономъ не говорить, — отрѣзалъ Юліусъ.

— Есть.

— Замается онъ сегодня, — въ полголоса сказалъ кто-то.

Юліусъ недавно былъ назначенъ въ корпусъ съ эскадры. Въ сущности, онъ не былъ морякомъ по образованію, а началъ служить во флотѣ только въ граждан-

скую войну. Очутившись здѣсь, среди моряковъ, онъ чувствовалъ себя неувѣренно, не зная этой среды, ея навыковъ, обычаевъ, традицій. Кадеты, учитывая это, въ первое же его дежурство словно съ цѣпи сорвались, открыто не грубили, но онъ видѣлъ ироническіе взгляды со всѣхъ сторонъ. Когда онъ вошелъ въ помѣщеніе роты, кто-то обратилъ вниманіе на его хорошо разглаженные черные брюки (лѣтомъ здѣсь всѣ ходили въ бѣломъ).

— Какіе мы тонные, — раздался чей-то голосъ, и Юліусъ слышалъ, кто сказалъ, но не зная фамилій, не былъ увѣренъ въ себѣ, а потому подалъ видъ, что ничего не слышалъ.

Юліусъ былъ озабоченъ, какъ бы не распустить въ первый же день кадетъ, не уронить себя въ глазахъ другихъ офицеровъ, поэтому онъ сосредоточенно и серьезно вступилъ въ дежурство, но съ утра засталъ въ ротахъ какое-то безшабашное настроеніе. Послѣ молитвы, читая приказъ, онъ перепуталъ фамиліи и въ строю смѣялись, а онъ растерялся. Затѣмъ, эта стрѣльба съ батареи окончательно все перевернула. Кадеты толпой повалили изъ форта. — «Надо было пріѣхать этому Петэну. То-же, нашелъ время стрѣлять»... Во время уроковъ Юліусъ услышалъ странные звуки и, войдя въ пустой классъ, гдѣ были сложены музыкальные инструменты, увидѣлъ маленькаго кадета седьмой роты, который не могъ равнодушно видѣть ни одной трубы. Кадетъ, надѣвши на себя огромный геликонъ, пытался издавать хриплые звуки, а когда Юліусъ подошелъ къ нему сзади и схватилъ за руки, тотъ вскинулъ инструментъ и его огромный раструбъ покрылъ голову Юліуса по самыя плечи. Мальчишка оказался дерзкимъ: «Г-нъ мичманъ, вы не съ того конца дуть хотите», прокричалъ онъ, еле сдерживаясь отъ смѣха, когда Юліусъ доставалъ изъ раструба фуражку...

Во время третьяго урока Юліусъ сидѣлъ въ дежурной комнатѣ и просматривалъ штрафной журналъ.

«Кадетъ (такой-то) за куреніе въ ротѣ — 2 сутокъ строгаго ареста».

«Опоздалъ изъ отпуска — сутки ареста».

«За позднее вставаніе — вставать за часъ до побудки».

«За унылый видъ во время строевыхъ занятій — 2 часа винтовки».

«За плохую отмѣтку по физикѣ — 2 часа винтовки».

«За вызывающій видъ при объясненіи съ отдѣленнымъ начальникомъ — 4 часа винтовки».

— Что же этому мальчишкѣ назначить, — думалъ Юліусъ.—Подъ винтовку—неудобно, маленькій, въ карцеръ — не стоитъ. Дамъ ему какой-нибудь нарядъ внѣ очереди,—рѣшилъ Юліусъ и сталъ придумывать формулировку. Но не успѣлъ онъ сдѣлать росчеркъ своей фамиліи, проткнувъ при этомъ перомъ плохую бумагу, какъ рѣзко прорѣзалъ тишину отбой и въ тотъ же самый моментъ раздался оглушительный крикъ: «ура». Онъ начался въ глубинѣ классовъ и все росъ и росъ, разливаясь по гулкимъ коридорамъ. Слѣдомъ за нимъ оркестръ заигралъ не то тушъ, не то маршъ. Не понимая, въ чемъ дѣло, мичманъ Юліусъ бросился къ классамъ, на ходу оправляя поясъ съ кортикомъ. Удивленный, онъ увидѣлъ, что преподаватели, смѣясь и затыкая уши, спокойно шли съ журналами въ учительскую, откуда выглядывала смѣющаяся лысая голова помощника инспектора классовъ. Нестерпимый крикъ не только не прекращался, но еще больше усиливался и, вмѣстѣ съ выходящими на дворъ кадетами, наполнялъ фортъ неистовымъ ревомъ. Оркестръ, послѣ секундной остановки, началъ снова. Казалось, этому не будетъ конца.

Юліусъ бросился къ кадетамъ, закричалъ самъ страшнымъ голосомъ, но его никто не слышалъ, онъ и

самъ не слышалъ своего голоса. Онъ видѣлъ только десятки раскрытыхъ глотокъ и выходящее оттуда трубное — ура. Это продолжалось уже нѣсколько минутъ.

Юліуса удивило, что остальные офицеры съ добродушной усмѣшкой смотрѣли на это зрѣлище, а изъ окна строевой канцеляріи высунулись бакенбарды ротнаго; онъ спокойно жевалъ мундштукъ, широкій и плоскій, какъ щепка, и въ его глазахъ бѣгали веселые огоньки.

— Въ чемъ дѣло? — произнесъ, наконецъ, Юліусъ въ ухо одному офицеру.

— Традиція. . .

Юліусъ не понималъ, что ему надо дѣлать. — «Чортъ бы ихъ побралъ, съ ихъ традиціями», — подумалъ онъ и со снисходительной улыбкой подошелъ къ офицерской группѣ.

Крикъ понемногу стихалъ, съ перебоями. Оркестръ замолчалъ, только какой-то любитель неистово колотилъ въ большой барабанъ и тарелки.

— Ничего батенька, вечеромъ совсѣмъ пастыремъ безъ овецъ останетесь.

— Ну, это мы посмотримъ, — вспылилъ Юліусъ, однако насторожился, обезпокоился, но спросить не рѣшился и дѣловито пошелъ въ дежурную комнату. . .

Въ полдень разморило отчаянно. Камни форта раскалились — до нихъ нельзя было дотронуться. Свѣтъ и бѣлизна слѣпили. Во дворѣ, какъ въ каменномъ котлѣ, нечѣмъ было дышать. Всѣ стремились уйти въ тѣнь, въ свѣжую сырость казематовъ и коридоровъ, подъ защиту земельныхъ насыпей, пока еще раскаленный воздухъ не вытѣснилъ оттуда прохладу. Фортъ, словно вымеръ. Въ этотъ день не было строевого ученья, не было также и «чемоданнаго ученья» — провѣрки вещей, просушки и проч. Отбывающіе наказаніе кадеты съ винтовками въ такую жару переводились въ комнату дежурна-

го офицера, и сейчасъ передъ Юліусомъ стояла ихъ цѣлая фаланга. Они стояли неподвижно, будто вкопанные, поддерживая въ согнутой рукѣ винтовку. О чемъ они думаютъ? Вотъ этотъ, должно быть, о физикѣ. Юліусъ удивился выносливости. Онъ былъ свѣжій человѣкъ и не зналъ еще многихъ секретовъ. Онъ, напр., не зналъ, какъ это знали сфаятскія дамы, обшивающія кадетъ, почему карманы на лѣвой сторонѣ рубашекъ у большинства надорваны: зацѣпляется винтовка скобой за карманъ и виситъ, не давитъ на руку. А какія тайны существуютъ у карцера! Простой, строгій, усиленный — это все измышленія начальства, а кадеты прекрасно знаютъ свойства карцерныхъ замковъ, имъ также извѣстно, какъ попадаютъ туда и табакъ, и лампа, и котлеты съ томатнымъ соусомъ... Юліусу очень хотѣлось кое-что разузнать у кадетъ, стоящихъ передъ нимъ, но это было недопустимо, и Юліусу стало невмоготу сидѣть за столомъ, читать романъ, курить и видѣть передъ собой эти праздныя фигуры. Среди нихъ были и съ «унылымъ» и съ «вызывающимъ» видомъ. Юліусъ чувствовалъ на себѣ ихъ ироническіе взгляды, но когда онъ повертывалъ къ нимъ голову, кадеты смиренно опускали вѣки и смотрѣли внизъ невозмутимо.

— А уйти, пожалуй, разговаривать будутъ и винтовки опустятъ, — подумалъ Юліусъ. Но онъ не могъ вытерпѣть. Всталъ и неожиданно для себя сказалъ: «Прошу стоять и не разговаривать». — Есть, г-нъ мичманъ, — превесело рявкнули кадеты. Юліусъ обернулся и, покраснѣвъ, замѣтилъ, какъ вздрагиваетъ винтовка отъ смѣха на плечѣ кадета съ «вызывающимъ видомъ».

На дворѣ не было никого. Юліусъ прошелъ въ его конецъ, завернулъ влѣво и незамѣтно пошелъ дальше. Дорожка шла постепенно, вкрадчиво вверхъ на валы, откуда открывался необъятный видъ. Море, густо-синее, съ двухъ сторонъ. Наливались сады, зеленѣли поля, и

вились дороги. Солнце перетянуло къ закату и снижалось, и вдали Джебель-Ашкель — гора — бросала тѣнь на зеркалѣ прѣснаго озера. Легко дышалось здѣсь, на самой высшей точкѣ на десятки километровъ кругомъ, какъ-будто и солнце пекло меньше и травы колыхались отъ бриза. Юліусу сдѣлалось хорошо и грустно. «Просторъ-то какой! Чего-чего, а воздуху на землѣ всѣмъ хватитъ!» — Юліусъ сентиментально проговорилъ что-то ритмическое, похожее на стихи, потомъ перешелъ на какую-то пѣсенку и заходилъ по валу, по мягкому ковру, среди цвѣтовъ и густой травы. Зацѣпивъ ногой за колючее растеніе Юліусъ оглянулся подъ ноги — высокій макъ былъ прямо подъ рукой. Онъ его сорвалъ и затѣмъ сталъ играть съ цвѣтами: одинъ погладитъ, другой сорветъ, продолжая напѣвать пѣсенку... Это продолжалось довольно долго. Юліусъ совершенно не помнилъ, какъ очутился на противоположномъ концѣ форта, у лѣстницы, ведущей внизъ, во дворъ, прямо къ строевой канцеляріи, гдѣ висѣлъ колоколъ, въ который били склянки. Нѣсколько ударовъ колокола привели въ себя Юліуса. Спускаясь по лѣстницѣ, онъ увидѣлъ большое оживленіе на дворѣ; сходились кадеты, собираясь кучками у дверей различныхъ помѣщеній, озабоченно бѣгалъ дежурный по ротѣ со свисткомъ на длинной цѣпочкѣ, разыскивая дежурнаго офицера. Гдѣ-то стучали жестяной посудой. Взглянувши на часы, Юліусъ увидѣлъ, что осталось какихъ-нибудь полчаса до ужина. Необходимо было сдѣлать рядъ распоряженій, отпустить арестованныхъ кадетъ, а дежурный офицеръ пропалъ, и теперь его видятъ всѣ, какъ онъ спускается по лѣстницѣ да еще съ букетомъ цвѣтовъ въ рукахъ.

— Чортъ знаетъ, что вышло, — подумалъ Юліусъ и въ мордочкѣ маленькаго кадета и на другихъ лицахъ онъ увидѣлъ торжествующія хитрыя улыбки. Смущенный Юліусъ быстро пошелъ къ дежурной комнатѣ, по до-

рогѣ сунувъ букетъ въ первое попавшееся раскрытое окно.

Фортъ уже пестрѣлъ, какъ муравейникъ. Кадеты бѣгали изъ ротныхъ помѣщенiй въ классы, многiе въ умывальную, на ходу утираясь полотенцемъ. Собирался баковый нарядъ, «собачники», какъ ихъ называли, т.-е. кадеты съ баками, жестяными тарелками, ложками; звеня посудой, они шумно отправлялись авангардомъ въ Сфаятъ и тамъ, получивши на камбузѣ ужинъ, въ столовомъ залѣ раскладывали его по столамъ.

Торопясь и нервничая, Юлiусъ, даже раньше положеннаго, велѣлъ трубить малый сборъ. По тому, какъ выстраивались кадеты, Юлiусъ видѣлъ, что настроенiе у всѣхъ приподнятое, возбужденное, и это его опять встревожило. Черезъ нѣсколько минутъ батальонъ весело выходилъ за ворота форта. Ходили обыкновенно съ пѣснями, а сегодня — тѣмъ болѣе, такой веселый день.

— Г-нъ мичманъ, для васъ пѣсенку споемъ, — звонкимъ теноркомъ сказалъ запѣвало. Грянулъ хоръ и Юлiусъ сталъ слѣдить за словами.

Пошелъ купаться Ваверлей,
Оставивъ дома Доротею,
Съ собою пару пузырей
Беретъ онъ, плавать не умѣя.

Мотивъ былъ сентиментальный и грустный, но пѣсня звучала бодро, по вечернему времени, по тишинѣ — по горамъ раздавалась далеко.

Но у судьбы таковъ былъ рокъ.
Онъ окунулся съ головою.
Но голова тяжелѣ ногъ,
И онъ остался подъ водою.

— Нѣтъ ли тутъ какого намека? — подумалъ Юлiусъ и пока повторялись двѣ послѣднiя строчки строфы,

онъ старался яснѣе представить себѣ судьбу бѣдняги, словно это былъ онъ самъ.

Жена, узнавъ про ту бѣду,
Удостовѣриться хотѣла,
И ноги милаго узрѣвъ,
Она тотчасъ окаменѣла.

— Совсѣмъ, какъ Ніобея, — проговорилъ Юліусъ, но его тронулъ печальный мотивъ пѣсни въ соединеніи съ маршевымъ размѣромъ, и онъ вспомнилъ про букетъ, который набралъ на валу, какъ будто въ память Доротеи.

Прошли года и прудъ заглохъ,
И заросли къ нему аллеи,
Но все торчитъ тамъ пара ногъ
И остовъ бѣдной Доротеи.

Хорошо идти подъ музыку. Незамѣтно, какъ прошли ущелье и огибали кабинку адмирала — нѣтъ ли его самого тутъ, около капители коринѳской колонны, откуда-то занесенной сюда и поставленной на площадкѣ около барака?

Войдя въ Сфаятъ, Юліусъ замѣтилъ необычное оживленіе. Дѣтишки съ крикомъ гурьбой высыпали навстрѣчу, дамы, преподаватели съ какимъ-то особымъ вниманіемъ присматривались къ кадетамъ, какъ будто видѣли ихъ въ первый разъ, а не каждый вечеръ вотъ уже который годъ. . .

Раздался сигналъ «бери ложку, бери бакъ». Въ столовомъ залѣ было уже все въ порядкѣ. Ужинъ шелъ нормально. Юліусъ, пройдя баракъ изъ конца въ конецъ, нѣсколько разъ выглядывалъ на улицу и тутъ его опять охватывало безпокойство. И въ окнахъ — лица, и у дверей кабинокъ — группы, и всѣ смотрятъ на столовый залъ, какъ будто тамъ засѣдаетъ какая-то важная конференція, а не происходитъ самый обычный кадетскій ужинъ.

Юліусъ прошелъ между столами медленно, пристально вглядываясь въ лица кадетъ — такъ и есть, глаза отводятъ, ѣдятъ сосредоточенно, торопливо. Кончили всѣ сразу, какъ по командѣ, всѣ отставили тарелки и наступило мгновенное молчаніе. Оно было настолько отчетливо, что Юліусъ обернулся въ дверяхъ и хотѣлъ было скомандовать «встать», какъ моментально поблѣднѣлъ.

Ложка, брошенная фельдфебелемъ вверхъ, звонко звякнула о черепичную крышу и въ тотъ же моментъ, какъ разорвалась бомба, — раздался оглушительный крикъ, и кадеты, вскочивъ съ мѣстъ, бросились къ окнамъ, торопясь выскочить, какъ попало. Окна настежь, звенѣли стекла, опрокидывались тяжелыя желѣзныя скамейки, кое-гдѣ летѣли со звономъ на каменный полъ жестяныя тарелки и съ невѣроятнымъ ревомъ, одинъ за другимъ, съ безпорядочной поспѣшностью кадеты вскакивали и исчезали въ окнахъ.

Въ первый моментъ Юліусъ хотѣлъ что-то крикнуть. У него застучало сердце. Черезъ нѣсколько секундъ столовый залъ былъ пустъ и Юліусъ, переступивъ порогъ, видѣлъ кадетъ, мчавшихся въ разсыпную подъ неистовый хохотъ ребятъ и веселыя замѣчанія зрителей.

Юліусъ не зналъ, что ему дѣлать, куда и какъ идти... Традиція... Только бы не стоять, какъ пень, на одномъ мѣстѣ... — и онъ, стараясь принять равнодушный видъ, какъ будто-бы ничего непредвидѣннаго не случилось, неловко поправляя кортикъ, направился къ группѣ у преподавательскаго барака. Тамъ размахивали руками, показывая въ разныя стороны, и ротный съ бакенбардами хохоталъ, грызя плоскій мундштукъ.

ТАКЪ ВЪ НЕНАСТНЫЕ ДНИ...

Съ обрыва, гдѣ посажены сосенки и лѣтомъ качаются гамаки, видно на много километровъ. Въ тихую погоду даже Загуанъ маячитъ бѣлымъ, неподвижнымъ облачкомъ. Долина блеститъ переливами красокъ, а осенью, когда еще не распустились цвѣты и льютъ дожди — хмуро и сѣро. Вѣтеръ, холодный и упорный, свиститъ въ колючихъ загородяхъ, которыя дѣлятъ землю на ровныя площади, пригибаетъ корявыя, исковерканныя маслины. Каждый кустъ, клочекъ земли кажется живымъ и трепещущимъ, но стоитъ на мѣстѣ, а въ небѣ — все въ движеніи: огромныя облака, и хмурыя — черныя и сѣдыя — бѣлыя, сходятся и расходятся въ разныхъ направленіяхъ, сбиваются, таютъ и вновь куда-то устремляются. Съ высоты видно, какъ сбѣгаютъ съ горъ дождевые клубки, сливаются съ небомъ и саваномъ затягиваютъ землю.

Надъ Феррвиллемъ сгрудились тучи и совершенно поглотили бѣлыя зданія госпиталя. Джебель - Ашкель, гора, какъ островъ въ озерѣ, своей верхушкой сначала ушла въ небо, а потомъ совсѣмъ слилась въ ровной, темной мути, какъ только что покрашенный бортъ стального корабля, и полоса этой мути росла, переходила на пашни, вотъ уже захватила Старый фортъ и, перебѣжавъ

шоссе, дождь съ вѣтромъ прорвалъ сосенки и захлюпалъ по улицамъ Сфаята.

У камбуза только что успѣли прозвонить на ужинъ въ подвѣшенный орудiйный патронъ, но обычнаго скопленiя не было. Одиночныя фигурки въ бушлатахъ, съ поднятыми воротниками, съ кастрюльками разной формы въ рукахъ, бочкомъ вбѣгали въ двери камбуза, грѣлись тамъ у пылающей печи, пока полковникъ длиннымъ ковшомъ черпалъ изъ котла какое-то вкусное варево и разливалъ его въ посуды каждому подходящему. Аппетитно пахло изъ котла и изъ кладовой, гдѣ хранились и продавались всевозможныя вкусныя вещи.

Около печки маленькая очередь. Бросались на ходу двѣ-три фразы.

— Такъ, не забудьте, — говорилъ старикъ Куфтинъ Ивану Владиславовичу, — сейчасъ же, послѣ ужина...

Иванъ Владиславовичъ, математикъ Морского Корпуса, у окна, надѣвъ пенснэ, въ это время разсматривалъ на жестяной посудѣ котлету, особенно подозрительно вглядываясь въ томатный соусъ — не съ лукомъ-ли котлета, и не ошибся-ли какъ-нибудь полковникъ съ его спецiальной порцiей.

— Да, да, — отвѣтилъ Иванъ Владиславовичъ, уже послѣ того, какъ голосъ Куфтина потонулъ въ дождѣ за распахнутой дверью.

Черезъ нѣсколько минутъ Сфаятъ былъ, какъ мертвый: ни одной фигуры на улицахъ. Въ баракахъ — тихо, и только въ большомъ столовомъ баракѣ, гдѣ ужинали кадеты, слышно, какъ стучали вилки о жестяныя тарелки и смѣялись люди... Вразъ загудѣлъ баракъ, задвигались тяжелые корабельные желѣзные столы и скамьи. Пропѣвъ молитву, батальонъ, позвякивая баками съ пустой посудой, почти бѣгомъ направился на фортъ и скоро пропалъ за угломъ. Доносилось порывами съ мокрымъ вѣтромъ:

Я вамъ скажу, я вамъ скажу
Одинъ секретъ, одинъ секретъ...

Дождь хлюпалъ ровно и методично, на всю ночь, повидимому, какъ это бываетъ обыкновенно въ Бизертѣ. Въ лагерѣ засвѣтились огоньки. Кое-кто, выглянувъ изъ быстро хлопнувшей двери, ступая со свѣту по лужамъ, торопливо бѣжалъ въ «бѣлый домикъ». Адъютантъ, въ плащѣ съ капюшономъ, пошелъ разносить почту. Лучъ его фонарика слабо скользилъ по мокрети..

Въ библіотекѣ полковникъ Куфтинъ (его звали всѣ «дѣдомъ», хотя были въ Корпусѣ лица и старше его по возрасту), наскоро перемывъ посуду, составляетъ ее на полку за занавѣской. Куфтинъ — библіотекарь. Книгу онъ любитъ, бережетъ, и всѣхъ, кто беретъ книги, пачкаетъ ихъ или подолгу держитъ, — считаетъ своими врагами. Къ книжнымъ полкамъ онъ не подпускаетъ никого, почему и прозвище у него: «не тронь книгу!» При выдачѣ писчихъ принадлежностей онъ скареденъ, записываетъ каждый огрызокъ карандаша и каждое перо,стараясь сбыть въ первую очередь бракованныя. Одинъ разъ попалось въ коробкѣ перо съ нерасщипленнымъ носикомъ — оно перебывало и у кадетовъ, и у преподавателей — «дѣдъ» его принималъ и неукоснительно подсовывалъ другимъ. . .

Днемъ въ библіотекѣ было шумно, работала переплетная, стучали машинки, толпились кадеты, вырывая другъ у друга каталогъ, а вечеромъ было тихо и темно, и однообразные переплеты Морского Сборника казались сплошной каменной массой.

«Дѣдъ» ждалъ гостей. Въ маленькой кабинкѣ, закрытой съ одной стороны книжными полками, а съ другой коричневыми одѣялами, около кровати, на маленькомъ самодѣльномъ столикѣ съ приколотымъ на немъ листомъ бѣлой бумаги, лежали двѣ колоды картъ и тутъ же, на сосѣднемъ столѣ, болѣе солиднымъ, заставлен-

немъ, какъ рабочій, всякими нужными и ненужными вещами, — два приготовленныхъ карандаша и листочки чистой бумаги, вырванные изъ старыхъ тетрадей.

Сходились какъ то сразу всѣ.

Александръ Евгеньевичъ, генералъ, сутулый, вошелъ какъ-то виновато и долго искалъ мѣсто, гдѣ можно было-бы повѣсить мокрый бушлатъ и фуражку, съ огромнаго козырька которой струйкой стекала вода... Игралъ онъ спокойно и выдержанно. Часто съ полковникомъ они играли вдвоемъ, — они были совершенно противоположны по темпераменту: полковникъ — кипятокъ, несдержанный на языкъ, генералъ—уравновѣшанный, замкнутый.

Иванъ Владиславовичъ, поразительно разсѣянный, страстный охотникъ, игралъ, какъ спортсменъ. Онъ разыгрывалъ партію дѣловито, словно доказывалъ теорему, и чувствовалъ величайшее удовлетвореніе, когда въ заключительныхъ записяхъ выводилъ столбики цифръ, какъ истый математикъ, — красиво и аккуратно.

Это были все старые винтеры, съ огромнымъ стажемъ, черпающіе примѣры изъ обильнаго запаса всевозможныхъ казусовъ, какъ опытные юристы — изъ практики сенатскихъ рѣшеній. Рядомъ съ ними молодой мичманъ Дмитрій Дмитріевичъ, съ вкрадчивыми манерами и мягкими руками, казался робкимъ ученикомъ. Онъ игралъ недавно, плоховато, дѣлалъ уйму промаховъ, но молча и покорно принималъ на себя тяжелые удары сердитыхъ партнеровъ.

Всѣ четверо, протиснувшись къ столику, нѣкоторое время стояли молча и только послѣ того, какъ изъ небрежно раскинутой колоды были взяты карты, стали разсаживаться, — всѣ облегченно заговорили сразу.

Иванъ Владиславовичъ, привыкшій все анализировать и обобщать, обычно произносилъ винту цѣлое похвальное слово, которое никогда не могъ докончить.

Онъ сдавалъ. Карты легко ложились по кучкамъ. Нѣсколько небрежно отбросились четыре карты прикупки, по которой, однако, скользнули озабоченно четыре пары глазъ. Карты не молодыя, игранныя, сдаются плохо — застреваютъ въ пальцахъ. Одна вскрылась.

— Анеръ... Пересдать.

Иванъ Владиславовичъ смущенно сталъ собирать карты.

— Вообще, я нахожу, — говорилъ онъ со своимъ легкимъ западнымъ акцентомъ, — что это — лучшая и полезная изъ игръ. Здѣсь нѣтъ нелѣпости, здѣсь — все расчетъ, логика, это. . .

— Да вы не тотъ палецъ лижите, — ворчливо замѣтилъ ему «дѣдъ» Куфтинъ.

«Дѣдъ» бралъ со стола карту за картой и вкладывалъ въ ладонь лѣвой руки. Генералъ терпѣливо дожидался конца сдачи, пододвигая карты къ себѣ и затѣмъ, взявши всю пачку, привычнымъ жестомъ, быстро распредѣлялъ ее по мастямъ. Дмитрій Дмитріевичъ сразу раскрывалъ карты широкимъ вѣеромъ, стремясь немедленно же узнать ихъ судьбу, нѣкоторое время смотрѣлъ на нихъ, потомъ начиналъ не спѣша классифицировать, ставя черныя рядомъ съ красными, иногда прихотливо перемѣщая ихъ цѣлыми пачками. Онъ изящно и необыкновенно ровно держалъ ихъ въ своей рукѣ и любовался ихъ чудесными комбинаціями...

— Спасовалъ, — громко нарушилъ торжественное молчаніе Иванъ Владиславовичъ и посмотрѣлъ на своего партнера, какъ бы говоря, что молъ это еще ничего не значитъ и вообще это только начало игры.

— Пасъ, — сказалъ «дѣдъ», при чемъ сдѣлалъ такую мину, которая бываетъ у человѣка, потерявшаго всякій интересъ къ жизни, но когда спасовалъ и генералъ, «дѣдъ» заледенилъ своимъ взглядомъ мичмана.

Мученія начались сразу. У Дмитрія Дмитріевича были тузъ съ королемъ червей съ маленькими, но зато остальныя карты среднія, ни одной длинной масти. «Поддержать бы можно было, но у полковника, должно быть, ничего нѣтъ»... Наступило напряженное молчаніе — отъ мичмана зависѣла распасовка, и когда онъ, послѣ долгаго колебанія, сказалъ: «пасъ», «дѣдъ» яростно хлопнулъ картами объ столъ. Ясно было, что у него кое-что имѣлось на рукахъ, но онъ хотѣлъ подсидѣть другихъ и промолчалъ. А теперь, какъ бы не взять всѣ тринадцать взятокъ...

Опять молчаніе и опять мука. Нужно умѣло передать, сдѣлать ренонсъ, не обнажить туза. Иванъ Владиславовичъ, положивши двѣ карты партнеру, разсѣянно смотритъ въ темное окно, слѣдитъ, какъ стекаютъ капли, догоняя другъ-друга по длиннымъ бороздамъ: вотъ одна, крупная, ударилась на верху и потянулась внизъ, раздуваясь. . . капля доходитъ до оконнаго переплета и исчезаетъ. Генералъ закусилъ мундштукъ; дымокъ тихо вьется и щиплетъ глаза, отчего правый глазъ генерала полузакрытъ, а лѣвый часто мигаетъ, лицо дѣлается хитрое — генералъ превосходный игрокъ, мысленно проигрываетъ чуть ли не всю партію напередъ. Наконецъ, «дѣдъ» вырываетъ карты, бросаетъ ихъ Дмитрію Дмитріевичу и открываетъ присланныя ему. Нѣсколько мгновеній онъ держитъ ихъ передъ собой, устремивъ на партнера взглядъ, полный смертельной ненависти, и вдругъ схватывается за сердце. Сердце у него больное. Всѣ останавливаются. «Вамъ плохо, Алексѣй Никаноровичъ?...» Молчаніе. Черезъ минуту «дѣдъ» раскрываетъ карты и фальшиво затягиваетъ фальцетомъ съ трещинкой какую-то совершенно неопредѣленную мелодію.

Плохо начался роберъ. У дѣда оказалось тузовъ видимо-невидимо, и около него, на столѣ, образовался порядочный зигзагъ взятокъ, а у противниковъ еще ни

одной. Вдругъ его лицо приняло лукавое выраженіе: маленькую червонку Дмитрій Дмитріевичъ побилъ королемъ, значитъ тузъ у сосѣдей — смекнулъ дѣдъ. Заполучивши ходъ, онъ тихо пододвинулъ двойку къ генералу и ядовито прошепталъ: «Червь, снѣдающій плоть человѣческую». Дѣло было ясное — уйти отъ взятки невозможно — генералъ откинулся на спинку стула и нервно перебираетъ картами, — затѣмъ вздохнувъ, при общемъ движеніи, быстро кладетъ даму.

— Тутъ-то она ему и сказала, — тянетъ весело «дѣдъ», торжествующе потираетъ руки, хохочетъ...

И вдругъ Дмитрій Дмитріевичъ, крадучись, точно стараясь быть незамѣченнымъ, перекрываетъ генеральскую даму тузомъ.

...Объ этомъ долго потомъ разсказывали въ Сфаятѣ. Генералъ, багровый отъ приступовъ смѣха, смѣялся безшумно, весь, и на его прищуренныхъ глазахъ показались слезы. Иванъ Владиславовичъ сказалъ: — «Ха», — и, откинувшись назадъ, уронилъ пенснэ. Полковникъ поблѣднѣлъ и его лицо съ застывшей гримасой смѣха перекосилось.

— Что же это!—закричалъ онъ.—Нѣтъ, позвольте, позвольте!! — Онъ быстро застучалъ ладонью по столу. Ему казалось, что теперь послѣ этого случая, такъ жить, какъ раньше всѣ они жили, уже невозможно. Невозможно, чтобы всѣ попрежнему вставали утромъ, шли на фортъ на занятія, приходили, мѣняли книги, по вечерамъ играли въ винтъ...

— Дмитрій Дмитріевичъ, — вдругъ заговорилъ Куфтинъ, какимъ-то зловѣще-спокойнымъ тономъ. — Явное недоразумѣніе. Можетъ быть вы играть не хотите? Тогда нужно прямо сказать, тогда лучше бросимъ... Давайте бросимъ, господа!..

Но его уже никто не слушалъ. Иванъ Владиславовичъ, поправивъ пенснэ, весело подсчитывалъ записи,

повторяя: «поразительно, поразительно»... Генералъ добродушно посматривалъ на поле сраженія, трясущимися руками свертывалъ папироску, и «дѣдъ», растративши весь запасъ обидныхъ карточныхъ словъ, казался всѣми покинутымъ и чувствовалъ себя одинокимъ и обиженнымъ.

Черезъ нѣсколько минутъ, сидя рядомъ съ Дмитріемъ Дмитріевичемъ, онъ ему говорилъ тономъ благожелательнаго наставника:

— Я вамъ говорю, Дмитрій Дмитріевичъ, серьезно, по дружески. Передъ вами еще вся жизнь впереди. Такъ разносить въ распасовки нельзя. Я вамъ врать не буду. Если не вѣрите моей компетентности, спросите Александра Евгеньевича... Ну развѣ можно мариновать у себя туза съ королемъ?! Конечно, вы это... по молодости (дѣдъ не хотѣлъ сказать — «по неумѣнію»), но это же правило... Увѣряю васъ... Дайте-ка сюда «Собраніе морскихъ установленій»!

Въ нѣкоторыхъ случаяхъ бралась съ полки, Богъ вѣсть какъ попавшая въ библіотеку Морского Корпуса, книга безъ титульнаго листа, но съ синей печатной обложкой: «Собраніе морскихъ установленій», въ которой содержалось описаніе всевозможныхъ карточныхъ игръ.

Но мичману было уже не до теоретическихъ справокъ. Никого все равно не переспоришь, а объяснить ходъ своихъ разсужденій въ этой злополучной игрѣ — тоже не было никакой возможности: онъ и самъ не понималъ, какъ это могло случиться... «Надо въ будущемъ быть внимательнѣе — больше расчета, логики», какъ говоритъ Иванъ Владиславовичъ. И въ продолженіе всего вечера онъ старался избѣгать отвѣтственныхъ выступленій, прикупалъ безъ риска и шелъ на «большія» только тогда, когда его заставляли, и тогда онъ открывалъ прикупку съ видомъ человѣка, приносящаго жертву чужому

темпераменту и слагающаго съ себя всякую отвѣтственность.

Но уже настроеніе давно смягчилось — карточное счастье измѣнчиво. Послѣ безкозырнаго шлема «дѣдъ» увлекся, подвинтилъ немножко... Иванъ Владиславовичъ по разсѣянности позабылъ масть своего партнера и поддержалъ противника... Шесть роберовъ пролетѣли быстро. Но уходить не хотѣлось — такъ было пріятно сидѣть при лампѣ въ согрѣтой дыханіемъ кабинкѣ.

Иванъ Владиславовичъ машинально посмотрѣлъ на часы и спряталъ ихъ въ карманъ, но на вопросъ, сколько времени, опять вынулъ изъ кармана. — «Еще только одиннадцатъ». «Сыграемъ, господа, разгонный».

Мичману пришлось играть съ генераломъ.

— Итакъ, строевая часть противъ учебной, — сказалъ «дѣдъ», тасуя колоду и ставя ее съ правой стороны.

Опять заманчиво ложились карты и опять манили своими остроумными комбинаціями... Но игры шли тусклыя и уже математикъ сталъ позѣвывать и думать о завтрашнемъ днѣ и о задачѣ по интегральному счисленію, приготовленной имъ для кадетовъ старшей роты. Бѣгло взглянувъ на карты, Куфтинъ сталъ подсчитывать запись. . .

У Дмитрія Дмитріевича заколотилось въ груди, когда онъ въ послѣднюю сдачу раскрылъ свои карты: его ослѣпило, какъ въ яркій солнечный день... Однѣ красныя. Только восьмерка трефъ затесалась. Дмитрій Дмитріевичъ поставилъ ее посрединѣ передъ червоннымъ тузомъ и сталъ распредѣлять карты по рангу. Въ его жестахъ появилась спокойная увѣренность; онъ чувствовалъ себя, какъ взводный командиръ, который строитъ своихъ кадетъ на смотру. Вотъ они стоятъ одинъ къ одному... Коронка отъ десяти и. . . мелкоты безъ конца. «Итакъ, въ ружье!».

— Ну, что же? За вами слово, Дмитрій Дмитріевичъ.

— Бубны, — громко и отчетливо произнесъ онъ, какъ командовалъ: смирно!

— Славны бубны за горами, — произнесъ Куфтинъ и, почуявъ большую игру, сразу сказалъ пять бубенъ.

Всѣ насторожились. Мичману казалось, что генералъ мямлитъ, не говоритъ завѣтныхъ словъ, почему-то спасовалъ, будто ждалъ чего-то, и даже укоризненно посмотрѣлъ на Дмитрія Дмитріевича, когда тотъ, пропустивши червей, далъ возможность «дѣду» сказать: безъ козырей.

— Вотъ и угадай тутъ, — прошепталъ генералъ при нервномъ движеніи Куфтина.

Наконецъ, было произнесено сакраментальное: большой въ бубнахъ. Что было въ прикупкѣ, мичманъ видѣлъ смутно — онъ, дрожащими отъ волненія руками, открывалъ небрежно брошенную генераломъ присылку. Каждая карта, поставленная на свое мѣсто, приводила мичмана въ бурный восторгъ. — «До пятерки коронка», — произнесъ онъ, побѣдоносно подмигнувъ. Затѣмъ, путаясь въ большомъ количествѣ картъ, онъ сталъ считать взятки. . . «Господа, ну право же пятнадцать взятокъ»,— и, рѣшительно пододвинувъ одну карту партнеру, сталъ опять нервно перебирать ихъ.

— Ну, такъ какъ же?. . . поторопилъ кто-то.

— Да, такъ и остается — большой въ бубнахъ, — небрежно бросилъ Дмитрій Дмитріевичъ и въ этотъ моментъ Куфтинъ яростно бросился на генерала, какъ будто хотѣлъ выстрѣлить изъ револьвера или кинуться въ пропасть: «Нѣтъ!... Пожалуйста! безъ музыки!...», и противники быстро обмѣнялись заранѣе приготовленными картами.

— И чего волнуется старикъ? — подумалъ мичманъ и даже почувствовалъ нѣкоторый упадокъ силъ отъ утомительнаго козырянія. Его удивляло только странное

равнодушіе генерала, который какъ-то неохотно складывалъ взятки, которыя растянулись зигзагообразной тропинкой черезъ весь столъ.

Побросавши всѣхъ бубенъ, Дмитрій Дмитріевичъ принялся за червей и, вдругъ холодѣя отъ иголокъ на спинѣ, замѣтилъ, что противники бросаютъ послѣднія карты, а у него еще двѣ на рукахъ: онъ забылъ разнести...

— Не считается, — услышалъ онъ какъ бы между прочимъ брошенное, но многозначительное замѣчаніе. И... точно разорвалась бомба... Мичманъ понялъ, что произошло что-то непоправимое — солнце померкло, нѣтъ стройныхъ, послушныхъ рядовъ... Конецъ. Одинъ моментъ у него мелкнула мысль о самоубійствѣ... Генералъ, вставши изъ-за стола, что-то говорилъ отрывочно, безсвязно, — казалось, онъ не находилъ подходящихъ словъ, иногда мычалъ просто, и только, когда послышался слабый, какой-то чужой голосъ: «Ваше превосходительство», генералъ какъ-то вдругъ попалъ въ тонъ и сталъ говорить о вниманіи, о разгильдяйствѣ, все болѣе входя въ роль начальника, дѣлающаго разносъ подчиненному. Упоминалась и дисциплина и даже дурной примѣръ для учащихся... А въ это время тамъ, «на томъ берегу», двое склонились надъ листочкомъ и, подсказывая другъ-другу, раскатисто смѣялись, какъ запорожцы на картинѣ Рѣпина.

— Главное, — послышался голосъ Ивана Владиславовича, — коронка-то пропала!.. А знаете, господа, у моего отца разъ пришла коронка отъ двойки — честное слово — весь клубъ сбѣжался смотрѣть...

Расплатившись (пришлось что-то болѣе франка) Дмитрій Дмитріевичъ потянулся къ фуражкѣ, но «дѣдъ» локтемъ остановилъ его.

— Ну, будетъ ужъ, Александръ Евгеньевичъ, будетъ, — сказалъ онъ, доставая съ полки одной рукой

маленькій флакончикъ, а другой со звономъ собирая рюмки.

— Одну минутку, господа, — отъ шестого ноября осталось...

Чуть чуть за полночь, весело разговаривая вполголоса, чтобы не разбудить сосѣдей, компанія вышла на улицу, осторожно нащупывая ступеньки, сошла съ крыльца и затѣмъ, поднявши воротники бушлатовъ, всѣ трое, хлюпая по лужамъ, быстро скрылись въ чернильной тьмѣ.

Подходя къ двери своей кабины, мичманъ думалъ о томъ, будетъ ли завтра утромъ батальонная прогулка.

Закрывшись одѣяломъ, прислушиваясь къ шуму дождя, онъ вдругъ вспомнилъ длинную бубновую коронку, которая не только не завинтилась, но даже не посчиталась, и принялся высчитывать, сколько бы она стоила, но такъ и не досчиталъ до конца...

Проснулся онъ отъ пронизывающихъ и бодрящихъ звуковъ горна.

СКОРПІОНЪ.

Вѣтеръ, упорный, свистящій, подметалъ дорогу, пылилъ траву, потомъ заныль протяжно, нудно, съ рѣдкими перерывами и погналъ по шоссе бумажки, листья, вѣтки. Онъ хлесталъ въ лицо колючими камешками, срывалъ съ арабовъ широчайшія шляпы, на поворотѣ останавливалъ ословъ. Арабы, сидя на ослахъ, пронзительно кричали: «уи, уи» и хлестали ихъ палками, а старыя арабки, завернувши головы въ тяжелыя, бѣлыя ткани, нагибались къ землѣ, съ трудомъ поспѣвая за своими мужьями... Низкія, обросшія пальмы тревожились и шебуршили. Маслины, покорно склоненныя въ одну сторону, еще ниже склонялись и скрипѣли. Забезпокоилось, разревѣлось море, погнало тучи, и вода размокала пашни, размывала камни и неудержимо, булькая, рвалась тысячами ручьевъ внизъ, къ морю...

Утромъ, солнце робко лизнуло горы и скоро залило всю долину; облака быстро таяли, небо синѣло, черныя полосы разрыхленной земли дышали и курились...

Большой, коричневый, мохнатый скорпіонъ провелъ ночь подъ камнемъ около рожковаго дерева по дорогѣ на старый фортъ. Когда стала нагрѣваться земля и заблестѣли на травѣ алмазныя капли, онъ выползъ, потерся о камень брюшкомъ и, повернувшись бокомъ, посмотрѣлъ внизъ, на дорогу. Самый камень, который былъ его домомъ въ эту ночь, сильно подмыло, онъ висѣлъ на

половину безъ опоры, трава, густо закрывавшая входъ въ ямку, вырвана и снесена и валялась на шоссе мятымъ пучкомъ. Дорога была гладко вымыта, обнажились гальки, прорѣзались мелкія борозды-канавки, черезъ которыя, какъ всегда послѣ дождя, потянулись длинныя-длинныя извивающіяся многоножки.

Скорпіонъ посмотрѣлъ на бѣлую, блестѣвшую на солнцѣ дорогу, замѣтилъ бабочку и козявку на листочкѣ и вспомнилъ, что онъ голоденъ, вчера не успѣлъ поужинать и ночью, изъ-за грозы, плохо спалъ, не особенно удачно выбравъ мѣсто. Онъ пожевалъ челюстями и пошевелилъ клешнями.

Собственно говоря, онъ здѣсь новоселъ. Раньше онъ жилъ наверху, у форта, гдѣ громоздились большія скалы съ широкими полированными площадками—тамъ были не страшны ни вѣтры, ни дожди. Ахъ, какое было тамъ хорошее житье! Онъ могъ спокойно пробѣгать дорогу, копаться въ корняхъ растеній, поѣдать въ изобиліи мошекъ, червяковъ, пауковъ, а когда всходило солнце, можно было взобраться на высокій камень и лежать, грѣться, закаливая свою чешую. Пріятно было дышать чистымъ теплымъ воздухомъ, ощущать свѣтъ, видѣть небс, синее море и слушать, какъ трещать цикады. И думать свои скорпіоньи думы... Онъ жилъ въ большой норѣ, подъ сѣрымъ камнемъ, въ пещерѣ, кормилъ семью и мужественно отстаивалъ свое жилище отъ нападеній врага. Тамъ онъ родился, тамъ хотѣлъ и умереть.

Но съ нѣкотораго времени эти мирныя скалы его убѣжища были нарушены шумомъ и гамомъ безконечнаго количества безпокойныхъ людей. Раньше онъ мало кого боялся: онъ былъ скорпіонъ сильный, темный — изъ самыхъ ядовитыхъ, и зналъ цѣну своему оружію. Арабамъ его пещерка была ненужна, а отъ овцы или козы всегда можно было спрятаться подъ камень — онѣ его не отвалятъ... Но теперь, теперь... когда на форту кри-

чатъ, трубятъ, поютъ... и, что самое ужасное, эти пришлые мальчишки въ матроскахъ, съ синими воротниками бѣгаютъ по полямъ, взбираются на деревья и разворачиваютъ камни. Старый скорпіонъ зналъ, когда пройдетъ по землѣ арабскій плугъ, когда придутъ женщины съ дѣтьми собирать маслины, зналъ, какъ уберечься отъ копыта лошади или осла, но эти новые двуногіе разворачиваютъ никому ненужные камни, лежавшіе неподвижно сотни лѣтъ, и уничтожаютъ скорпіоновъ. Однажды, защищая свое жилища, онъ яростно бросился на врага и, вмѣсто босой ноги арабченка, которую онъ долбанулъ своимъ хоботкомъ, онъ съ болью увидѣлъ тяжелую подкованную гвоздями кожу. Онъ увернулся, подскочилъ и былъ отброшенъ ногой. Ударившись о камень, онъ бѣжалъ и попалъ въ нору къ сколапендрѣ, которая, напружинивъ свои кольца, бросилась на него, но онъ ловкимъ ударомъ хобота заставилъ ее остаться на мѣстѣ, размякнуть и окоченѣть.

Отдышавшись, успокоившись, онъ тихонько поползъ къ себѣ, но долго не узнавалъ — домъ былъ разрушенъ, безъ кровли, а разорванные клочья чешуекъ были вдавлены въ землю. Тогда скорпіонъ загрустилъ, цѣлый день ничего не ѣлъ, а вечеромъ рѣшилъ переселиться. Онъ спустился внизъ, въ долину, но по всему склону не могъ найти укромнаго уголка — всюду онъ чуялъ этотъ непріятный запахъ тяжелой кожи. Такъ проползъ онъ мимо Сфаята, торопясь отъ маслины къ маслинѣ, прислушиваясь и прячась, къ нижнему шоссе, къ перекрестку дорогъ, и когда выскочилъ на площадку, открытую со всѣхъ сторонъ, онъ почувствовалъ, что его сбиваютъ съ ногъ острые камешки, которые взметывалъ поднимавшійся вѣтеръ. Пробѣжавъ съ большимъ трудомъ черезъ дорогу, онъ поползъ было въ гору, но усталъ и рѣшилъ укрыться отъ непогоды подъ камнемъ около большого дерева, сплошь, какъ сережками, увѣшаннаго сухими

рожками. Тутъ онъ и провелъ ночь подъ немолчный шумъ и хлопанье рожковыхъ вѣтокъ. Было неуютно и сыро на новомъ мѣстѣ. Онъ часто вздрагивалъ и спросонья шарилъ клешней, отыскивая скорпіониху...

Теперь онъ жадно глоталъ влажный утренній воздухъ и грѣлся на солнышкѣ. Подкарауливалъ мухъ и паучковъ. Онъ, было, сталъ соображать, что дѣлать дальше, какъ вѣтеръ донесъ до него громкое и хорошо знакомое пѣніе, и въ то же время онъ услышалъ мѣрное вздрагиваніе земли.

— Опять *они*, — съ ужасомъ подумалъ скорпіонъ, но не побѣжалъ, а только отползъ къ краю шоссе и съ ненавистью уставился на мелькающіе ряды. По долгой привычкѣ онъ хорошо зналъ, что когда *они* идутъ строемъ, въ ногу, такъ, что отъ гулкихъ размѣренныхъ ударовъ ногъ дрожитъ земля, — это не страшно, никто изъ нихъ не подбѣжитъ къ нему и не сдѣлаетъ ему никакого зла. Онъ больше всего боялся не быстраго топота толпы по шоссе, а медленныхъ, лѣнивыхъ шаговъ одиночекъ, бродящихъ безъ дорогъ и дѣлающихъ совсѣмъ не то, что дѣлали всегда двуногіе, съ которыми онъ жилъ и прожили его предки...

Но здѣсь онъ обманулся. Лишь только отстукала послѣдняя шеренга, какъ слѣдомъ показалась небольшая группа. Шли не спѣша, вразвалку, останавливаясь и ковыряя палками.

И вдругъ онъ почувствовалъ на себѣ пристальный взглядъ человѣка. Онъ мигомъ кинулся въ канаву, разсчитывая встрѣтить какую-нибудь ямку или дырку, но уже ему громоздили препятствія. Онъ быстро перешагивалъ черезъ палки, но ему подставляли еще и еще, опрокидывая его и отбрасывая на чистое мѣсто, и, наконецъ, одна палка придавила его.

— Осторожнѣе, осторожнѣе, — говорилъ господинъ, бритый, въ пенснэ, наклоняясь къ скорпіону. — Корич-

невый... Какой прекрасный экземпляръ! У меня въ кабинетѣ такого еще нѣтъ.

Онъ вынулъ изъ кармана жестяную коробку, деликатно поднесъ ее и быстрымъ движеніемъ перебросилъ въ нее скорпіона. Тотъ защелкалъ и затопалъ, искалъ въ ярости хоботкомъ противника, но только натыкался на твердую для жала поверхность.

— Посмотрите, что выдѣлываетъ!—заговорили сгрудившіеся преподаватели. — Онъ этимъ и жалитъ? И больно?..

— А ну, подставьте палецъ, Николай Николаевичъ.

— Благодарю васъ. А впрочемъ, я слова знаю. Плиній Старшій писалъ, что если сказать скорпіону: «два», — онъ остановится и не будетъ кусать.

— Вы скажите объ этомъ кадетамъ, — среди нихъ, вѣроятно, найдутся охотники попробовать.

Черезъ нѣкоторое время, на форту, отворивъ дверь съ надписью: «естественно-историческій кабинетъ», человѣкъ подошелъ къ большой жестянкѣ, бидону изъ подъ масла, и скорпіонъ грузно шлепнулся на песокъ.

Потянулось однообразное и скучное время неволи. Впрочемъ, харчъ былъ хорошій. Въ изобиліи — мухи, стрекозы, слѣпни, пауки. Первое время скорпіонъ даже былъ радъ, что не нужно было заботиться объ ѣдѣ, часами поджидая какую-нибудь шуструю муху. Отъ спокойной жизни онъ даже пополнѣлъ и отяжелѣлъ. Ему казалось иногда, что онъ видитъ сонъ: вотъ онъ сидитъ въ своей норѣ зимой, когда недѣлями льетъ холодный дождь и не видно солнца... Въ коробкѣ было всегда темно, свѣтъ проникалъ только черезъ проволочную крышку, и безъ солнца, котораго иногда не было въ мрачномъ казематѣ, скорпіонъ потерялъ счетъ времени. Онъ только замѣтилъ, что въ одно и то же время за его тюрьмой начинается шумная жизнь и раздаются *ихъ* голоса. Потомъ говоритъ тотъ, который его кормитъ и котораго зо-

вутъ «лягушатникомъ». Иногда его сжимали желѣзными щипцами и поднимали изъ коробки, и онъ, извиваясь, смотрѣлъ стеклянными ненавидящими глазами на молодыя лица. Когда стихалъ безпорядочный шумъ за коробкой, скорпіонъ зналъ, что теперь его уже долго не будутъ безпокоить, пока на слѣдующій день вновь не наполнится классъ и оглушительно ворвутся разные голоса и будутъ смотрѣть на него много большихъ глазъ и стучать пальцами по жестяной стѣнкѣ его темницы.

Но однажды, безъ знакомаго шума и толкотни, отворилась дверь и «лягушатникъ» заговорилъ, но болѣе тихимъ голосомъ, чѣмъ всегда, а потомъ появились опять знакомые щипцы, и старый скорпіонъ, жившій скромно много лѣтъ на скалахъ Джебель-Кебира и долгое время не видавшій людей, кромѣ чумазыхъ арабовъ, — былъ представленъ французскому морскому префекту Бизерты. Когда высокій гость ушелъ, кругомъ смѣялись и говорили, что теперь «лягушатникъ» скоро получитъ орденъ «почетнаго скорпіона».

Появленіе человѣка въ расшитой золотомъ фуражкѣ было въ послѣдній день. Затихли шаги. Не было обычной бѣготни по гулкому коридору. Коробка оказалась открытой: кто-то сдвинулъ крышку, и она свѣсилась внутрь. Скорпіонъ потянулся къ ней. Его тѣло скользило и падало, но, наконецъ, онъ зацѣпился за сѣтку и черезъ минуту очутился на столѣ, съ котораго грохнулся на полъ. Почувствовавъ себя на пустомъ мѣстѣ совсѣмъ легко, скорпіонъ сначала направился въ уголъ, а оттуда, въ чуть-чуть пріотворенную дверь, проползъ въ коридоръ. Увидѣвъ въ концѣ его свѣтовую полоску, онъ поползъ къ ней, останавливаясь и прислушиваясь. Дойдя до края, онъ ощутилъ землю, и въ то же время на него пахнуло живительнымъ, любимымъ, опьяняющимъ воздухомъ солнечнаго дня. Онъ отползъ на ослѣпительное пятно на камнѣ и отъ волненія нѣ-

сколько моментовъ не могъ двинуться дальше. Онъ вздрогнулъ отъ рѣзкихъ шаговъ и бросился по каменному желобку рва.

— Скорпіоша! Стой, братъ... закричали *они*. У, какой большой!.. И злюка... Не пускайте, господа! Пелипенко, останови-же, подставь танки. Да что ты боишься, — прокуситъ что ли?!...

Скорпіонъ понялъ, что это послѣдняя борьба. Онъ боролся отчаянно и, прижатый къ дощечкѣ, всячески извивался, махалъ клешнями, грызъ палочку, которая уперлась въ его брюшко, и, стараясь достать врага своимъ смертоноснымъ хоботкомъ, долбилъ имъ какъ молоточкомъ по доскѣ, оставляя на ней капельки своего яда.

— Казнитъ его! — кричали одни.

— Нѣтъ, нѣтъ, господа, — пусть онъ самъ, самъ... Ну, бѣги за керосиномъ...

Черезъ минуту скорпіонъ хлюпнулся на широкую каменную плиту. Онъ былъ свободенъ, но чувствовалъ заговоръ, лежалъ неподвижно и только глазами искалъ, куда бы можно было уйти. Уйти было некуда — черные непроницаемые танки, какъ горы, толпились кругомъ.

И тутъ, на одномъ концѣ камня скорпіонъ ощутилъ запахъ, противный, отталкивающій, который его заставилъ круто повернуться и отбѣжать на другую сторону. Это было безнадежно — онъ былъ въ кольцѣ разлитой вонючей жидкости. Онъ бочкомъ-бочкомъ быстро побѣжалъ по кругу, отыскивая свободный проходъ. И вдругъ его обхватило яркимъ пламенемъ и жаромъ костра. Однимъ прыжкомъ онъ отскочилъ на середину и понялъ все. Мгновенно онъ пришелъ въ себя и собралъ въ себѣ всѣ силы, — вспомнилъ, какъ умирали его отцы и дѣды въ минуту неизбывной, смертельной опасности. Онъ посмотрѣлъ на верхъ, на солнечные лучи, закопченые дымомъ, потянулся на лапкахъ и, поднявши хоботъ, ударилъ себя жаломъ въ голову.

Нѣсколько секундъ онъ оставался скрюченнымъ въ кольцо, потомъ вздрогнулъ, разставилъ клешни и застылъ. Послѣднимъ движеніемъ онъ, медленно развертывая, опустилъ на камень свое оружіе — хоботъ.

СПЕЦІАЛИСТЪ.

Просторно и свѣтло на пальмовой аллеѣ въ Бизертѣ. Низкія пальмы растутъ точно въ кадкахъ, шуршатъ латаніи своими жестяными листьями. Вѣтеръ съ моря. Гудитъ прибой... Пароходъ огибаетъ маякъ, направляясь въ Марсель — на немъ, вѣроятно, есть русскіе. Русская порѣдѣвшая колонія неизмѣнно приходитъ на пристань; долго машутъ платками, шляпами въ слѣдъ уѣзжающимъ знакомымъ. Расходятся тихо, грустно глядя въ далекое море — кого манитъ эта даль, кого тревожитъ

Сижу на каменной скамьѣ подъ пальмами. Слѣжу за дымкомъ парохода и все думаю, даже не знаю, о чемъ думаю. Хочется на чемъ-то остановиться и додумать до конца...

— Николай Николаевичъ!

Оглядываюсь. — А, Миша...

Передо мной почти мальчикъ. Голубые глаза бѣгаютъ, словно ищутъ чего-то.

— Здравствуйте! Откуда? Изъ Туниса? Ну, что, устроились?

Миша перекладываетъ апельсинъ въ лѣвую ладонь, запихиваетъ какой-то свертокъ въ карманъ и весело трясетъ мою руку. На немъ плохенькій пиджачекъ, обмызганная кепка — видъ довольно хулиганистый.

— Да ну же разсказывайте. Нашли мѣсто, гдѣ служите?

— Блуждалъ. Ни на одномъ мѣстѣ не былъ болѣе восьми дней. Надоѣло.

— Подождите, вы по какой спеціальности устроились?

При этихъ словахъ Миша гримасничаетъ, а потомъ вдругъ хохочетъ.

— Представьте, никакъ не могу отвѣтить на этотъ вопросъ, вы лучше спросите, кѣмъ я не былъ — и морякомъ, и артистомъ, и парикмахеромъ.

— Да разсказывайте же, — говорю я ему, сажая его около себя на скамейку. Закурили. Миша нѣкоторое время морщитъ лобъ и мнетъ свою папироску.

— Пріѣхалъ я въ Тунисъ. Надо работу искать, ходить наниматься и, въ заключеніе, стоять днями у станка да вытачивать какую-нибудь чурочку. Всѣ наши уже давно устроились, тянутъ лямку. Насмотрѣлся я на нихъ — жили вмѣстѣ. Чуть свѣтъ — на заводъ, а вечеромъ приходятъ усталые. Нѣкоторые уже третій мѣсяцъ живутъ въ Тунисѣ, а еще города не видѣли: только и знаютъ свои фабричные переулки. Кой кто чертежникомъ. На трамваяхъ служатъ... Вотъ, говорятъ, хорошая служба. Не сказалъ бы. Вы знаете, Петрусь поступилъ кондукторомъ. Вотъ было горе съ нимъ. Билеты путаетъ: одному дастъ впередъ, а другому въ обратномъ направленіи. На бѣду контролеры часто провѣряютъ и пока разбираются, смотришь — полъ-вагона даромъ ѣдетъ. А одинъ разъ онъ какой-то старушкѣ сдачи не додалъ, ерунду какую-то, нѣсколько сантимовъ, соскочилъ съ трамвая: Мадамъ, мадамъ. Тутъ толпа затерла, а трамвай тѣмъ временемъ ушелъ безъ кондуктора. А по вечерамъ, при провѣркѣ у него никогда не сходится — при разсчетѣ въ концѣ мѣсяца ему, кажется, пришлось чуть ли не отъ себя прибавить. Нѣтъ,

думаю, такую работу я всегда найду, съ голоду не умру. Сначала городъ осмотрю хорошенько. Вы знаете Тунисъ! Развѣ его можно осмотрѣть въ одинъ, два дня, бѣглымъ взглядомъ, какъ дѣлаютъ туристы. Конечно, въ европейскихъ кварталахъ дѣлать нечего, но зато — арабскіе — это цѣлый міръ, особый, древній въ какомъ-то странномъ преломленіи съ современностью. Подойдешь къ Эсъ Зитуна. Это не только мечеть, но что-то въ родѣ семинаріи; на массивныхъ деревянныхъ воротахъ надпись: для иностранцевъ входъ «дефандю». Все это интересуетъ, было бы время, постарался бы туда проникнуть, а тутъ обойдешь ее кругомъ, посмотришь на росписной ящикъ минарета, а потомъ затеряешься въ арабскомъ муравейникѣ. Когда вы проходите по «сукамъ», то вѣдь передъ каждой лавчонкой можно часами стоять, каждую вещь разглядывать, какъ въ музеѣ. Такъ я цѣлыми днями шатался и окрестности исходилъ, въ порту цѣлыми часами сидѣлъ — вообразите себѣ, фелюги, арабскіе матросы, фески и все это на фонѣ солнца, прѣлаго соленаго запаха моря и цѣпи крутыхъ горъ на темно-синемъ небѣ. Словно все это съ какой-нибудь венеціанской картинки... По вечерамъ по кинематографамъ ходилъ — всѣ до одного пересмотрѣлъ. Околачивался я такъ недѣли двѣ, товарищи стыдятъ, тунеядцемъ считаютъ. Посмотрѣлъ я въ кошелекъ, осталось нѣсколько франковъ, пожалуй, и въ кинематографъ не хватитъ. Ну, думаю, пора работу искать. Пошелъ на мраморную фабрику. — Что, спрашиваютъ, вы умѣете дѣлать? Думалъ я, думалъ, — пилить, говорю. Подводятъ меня къ одному станку: Умѣете вы обращаться съ этой пилой? — Нѣтъ, говорю, я работалъ на другой. — А, на вертикальной! — Да, да, говорю, на вертикальной, — и къ другому станку. — Нѣтъ, говорю, я работалъ ручной пилой. Словомъ засыпался. Но все-таки, на другой день мнѣ работу дали. Ушелъ черезъ два дня — надоѣло...

Началъ читать по утрамъ объявленія въ «Депешъ Тюнисьенн». Сплошь читалъ. Иной разъ не понимаешь, въ чемъ дѣло, даже словъ такихъ въ словарѣ нѣтъ. Бывали курьезы: одинъ разъ пошелъ наниматься... въ кормилицы... Былъ два раза доместикомъ.

— Это что же, въ родѣ дворника?

— Пожалуй, кухоннаго мужика. Работа на нашемъ камбузѣ пригодилась. Нанялся я къ одному профессору, въ Бельведерѣ. Что вы умѣете дѣлать, спрашиваютъ меня... Я, говорю, русскую кухню знаю. А французскую знаете? — Что же... и французскую знаю, говорю. Думаю, поучусь у хозяйки. Пріѣхалъ я къ нимъ со своимъ скарбомъ. Отношеніе къ прислугѣ хорошее, комната прекрасная. Въ первый же день профессоръ съ женой ушли, а мнѣ сказали: приготовьте намъ что-нибудь. Даже не сказали, гдѣ что лежитъ. Я прежде всего пошарилъ на полкахъ, посмотрѣлъ, что вчера готовили. Мясо есть, нарѣзалъ мясо, картошку, рису положилъ, получилась какая-то каша, на вкусъ — ничего. Я для сравненія остатки вчерашняго обѣда разогрѣлъ и все пробовалъ — похоже... Съ супомъ затрудненіе вышло, не зналъ, изъ чего его варить. На дворѣ курицы бѣгаютъ; взялъ я одну, ощипалъ, нарѣзалъ маленькими кусочками. Очень хорошо вышло. Одобрили. На другой день опять уходитъ хозяйка и опять, готовьте, что хотите. Я и сварилъ имъ фасоли.

При упоминаніи этого продукта, хорошо знакомаго бѣженцамъ въ Африкѣ, мы оба захохотали, какъ рѣзаные. — Ну и что же?

— Разсердилась хозяйка. Ѣшьте, говоритъ, ее всю сами. Обѣдать въ ресторанъ пошли, а меня разсчитали. Въ другомъ мѣстѣ опять не повезло. Между прочимъ, французы иногда ѣдятъ руками и тутъ же моютъ пальцы въ чашкѣ, такъ я туда кипятку по оплошности на-

лилъ... Ушелъ. И вездѣ мнѣ на прощанье говорять: Ву зеть бравъ, мсье.

Одно время книжки продавалъ, въ родѣ Ната Пинкертона. Безконечный романъ какой-то. Первый выпускъ безплатно; а прерывается на самомъ интересномъ мѣстѣ. Ходилъ по улицамъ и разсовывалъ, а на другой день предлагалъ продолженіе. Большинство отказывалось, но все-таки въ первый день заработалъ двадцать пять франковъ, за то на другой день только одну книгу продалъ...

Тутъ я въ Сузы поѣхалъ — подвернулось временное мѣсто — замѣнить кочегара на рыболовномъ катерѣ. Это была самая моя продолжительная служба. Съ недѣлю околачивался, заработалъ хорошо, только тяжело очень. Качаетъ здорово. Катерокъ маленькій, какъ выйдетъ въ море, погода свѣжая — его и давай класть на обѣ стороны. Когда спишь, привязывать себя къ койкѣ приходится. Въ кочегаркѣ тѣсно, мотаетъ, я долго не могъ приспособиться бросать уголь въ топку; въ первый разъ — только сгребъ на лопатку, качнуло, — я весь зарядъ и всадилъ въ спину механику. Ничего, поругался немного — тоже русскій. Невыносимо качаетъ, когда сѣть изъ воды выбираютъ, я валялся безъ ногъ, а меня утѣшаютъ; этой, говорятъ, марки и покрѣпче васъ не выносятъ. Черезъ недѣлю старый кочегаръ объявился, и я опять очутился въ Тунисѣ.

Тутъ я опять за объявленія. Вотъ смѣху было, когда я артистомъ сдѣлаться захотѣлъ.

— Какъ артистомъ? Въ циркѣ что ли?

— Нѣтъ. Читаю какъ-то объявленіе; что-то много было написано. Чудо природы, коза съ пятью ногами, съ двумя головами... и требуется къ ней артистъ.

— Къ кому, къ козѣ?

— А вотъ слушайте. Прихожу по указанному адресу. Выходитъ пожилая мадамъ. Вы, спрашиваетъ, по

объявленію? — Да, говорю, въ чемъ дѣло? — Видите ли, у моей тетки на фермѣ родилась коза, у нея пять ногъ и она, вообще, уродецъ. Мнѣ одинъ цирковый артистъ предлагалъ за нее три тысячи франковъ, но меня увѣряли, что если снять помѣщеніе и показывать козу публикѣ, можно больше заработать. Вы дрессировать умѣете? — спрашиваетъ меня. — Ну, у меня ужъ такое правило: говорю, что умѣю. Только нельзя ли, молъ, козу посмотрѣть сначала.

— И что же, дѣйствительно, пятая нога? — спрашиваю я Мишу.

— Какъ вамъ сказать. Вмѣсто хвоста что-то въ родѣ ноги.

— Съ копытомъ?

— Нѣтъ, копытце еще недоразвилось, но его можно было воскомъ подлѣпить. Посмотрѣлъ я на это чудо природы, — продолжалъ Миша,—и соображаю, что, конечно, если найти подходящее помѣщеніе, можно было бы въ первые дни нѣсколько сотъ дураковъ затянуть (условіе было — мнѣ половину сбора). Что же касается дрессировки, то вспомнилъ разсказъ Аверченко про «нечистую силу»; запросто выучу: будетъ у меня коза при крестномъ знаменіи на стѣну лѣзть. Ужъ я прикинулъ, сколько будетъ стоитъ фотографія съ рекламой, да вотъ помѣщеніе не нашелъ. Такъ ничего съ козой и не вышло, — замѣтилъ Миша съ видимой грустью въ голосѣ.

Потомъ я ковры чинилъ. Въ Тунисѣ правительство очень интересуется ковровымъ дѣломъ, устраиваетъ мастерскія, школы. Лекціи читаютъ по исторіи этого искусства, очень интересно. Если поступить туда, черезъ два года можно профессоромъ сдѣлаться по этой части. Я нѣсколько лекцій прослушалъ и теперь немножко въ стиляхъ разбираюсь... А чинка — пустое дѣло.

— Какъ же вы кліентуру находили?

— Очень просто. Сперва заходилъ въ квартиры и говорилъ, что пришелъ изъ мастерской за коврами. Тамъ дѣлаютъ большіе глаза, а, впрочемъ, говорятъ, «намъ нужно починить, возьмите». Ахъ, какъ на этихъ коврахъ спать хорошо было! Чинить не трудно. Если рваный, съ краевъ срѣжешь и нашьешь, а то и шерстью приходилось штопать. Въ наши обязанности входила также сухая чистка. Ну, это только такъ говорится. Мы — прямо подъ кранъ, мыломъ и щетками терли, потомъ на солнцѣ высушивали и бензиномъ для запаха брызгали...

— А знаете, Миша, мнѣ ваша Одиссея что-то не особенно нравится: вѣдь такъ можно на большія непріятности наткнуться. Можетъ быть и бывало что-нибудь въ этомъ родѣ?

Мой вопросъ его смущаетъ. Его голубые глаза бѣгаютъ, но вдругъ останавливаются на мнѣ, и Миша весело и откровенно смѣется, тихимъ смѣшкомъ.

— Почти было. Съ парикмахеромъ.

— Ну, ужъ разсказывайте, авантюристъ вы этакій.

Мы встаемъ — Мишѣ надо на поѣздъ.

— Тоже, по объявленію. Прихожу къ парикмахеру. —Вы гдѣ служили?—Въ Бизертѣ, говорю.—А еще гдѣ? — Въ Сузахъ. — А еще гдѣ? — Въ Сфаксѣ. Видя, что я укоризненно качаю головой, Миша торопливо выбрасываетъ: Ну, конечно, стричь я не умѣю и не собирался, а расчитывалъ что-нибудь дѣлать, ну мыло тамъ развести, горячую воду принести... Должно быть, моя географія для парикмахерскаго стажа не оказалась убѣдительной: «А ну-те, молодой человѣкъ, говоритъ, попробуйте остричь вотъ эту болванку «анъ бросъ». Плохо дѣло, думаю, взялъ ножницы, полголовы отрѣзалъ. Натурально —оревуаръ...

— И только? А шею не накостыляли?

— Нѣтъ, но очень боялся.

Мы проходили мимо памятника, противъ Контроль Сивиль. Разговоръ не клеился.

— Скажите, какъ относятся къ русскимъ въ Тунисѣ?

— По разному. Иные очень хорошо, а иногда, какъ увидятъ, что русскій, такъ и захлопнутъ дверь передъ носомъ...

Мы шли молча. Я съ грустью думалъ, что жизнь идетъ мимо этого молодого, здороваго и способнаго человѣка, онъ не хочетъ ее схватить, связаться съ нею. Онъ съ нею играетъ, но... плохо играетъ. На вокзалѣ мы попробовали поговорить по душамъ. Миша признался, что эта жизнь ему надоѣла, и ѣдетъ онъ теперь искать постоянной работы.

Когда поѣздъ тронулся, я долго смотрѣлъ ему вслѣдъ, пока онъ не затерялся въ улицахъ городка.

На платформѣ, въ наступившей, послѣ отхода поѣзда, пустотѣ, остались какой-то чиновникъ-толстякъ и... нѣсколько русскихъ. Мы расходились грустные, какъ всегда, со своими думами.

РЫНДА.

Мы сидѣли въ каютъ - компаніи Морского корпуса. Былъ осенній вечеръ, теплый, немного душный, какъ передъ сирокко. Разговоръ не клеился, да и разговоръ былъ грустный: въ бухтѣ Каруба спѣшно шла передача кораблей французамъ. Часть нашихъ кадетъ ушла на эскадру помогать грузить вещи на берегъ и кое что захватить въ корпусъ. Сыграли зорю и въ сосѣднемъ , кадетскомъ баракѣ слышались голоса, смѣхъ и безконечныя отдѣльныя рулады духовыхъ инструментовъ.

Шумъ усилился, ворвались новыя голоса — то пришли кадеты изъ Бизерты. Черезъ нѣсколько минутъ группа ихъ быстро вошла въ коридоръ барака каютъ-кампаніи и, немного смущенная, остановилась въ дверяхъ.

— Разрѣшите явиться, г. мичманъ.

— Ну что, кончили?

— Такъ точно... Миноносцы уже начали уводить въ Ферривилль.

— Можете идти спать.

— Есть.

Кадеты мнутся и не уходятъ. Въ это время отъ нихъ отдѣляется небольшая собаченка — бѣлая съ темными пятнами — и проскальзываетъ по коридору въ каютъ-кампанію. Подняла мордочку, посмотрѣла, понюхала и,

быстро опустивъ голову, кинулась подъ топчаны, промелькнула подъ разножками и выскочила изъ барака.

— Г-нъ мичманъ, разрѣшите оставить въ ротѣ. Это «Рында», съ «Пылкаго».

— Ну, вотъ еще, грязь разводить.

— Никакъ нѣтъ, г. мичманъ, она умная; она внучка дуровской собаки. Мы сами смотрѣть будемъ.

Мичманъ дѣлаетъ серьезную мину, стараясь придать своему лицу строгое выраженіе; онъ немножко тяготится наступившимъ молчаніемъ — всѣ на него смотрятъ.

— Ну, хорошо, — разрѣшаетъ мичманъ,—но только, если...

Но уже никто не слушаетъ его медленной рѣчи — кадеты поворачиваются кругомъ, громко щелкнувъ танками. Мы всѣ заговариваемъ разомъ.

Въ Сфаятѣ появились новые обитатели. Оказывается, что Рында — не единственная наслѣдница эскадры; кадетъ младшей роты притащилъ съ собою маленькаго щеночка — Бимсомъ звали — черненькаго, лохматаго, откормленнаго, какъ боченочекъ. У новыхъ хозяевъ въ этотъ вечеръ оказалось хлопотъ полонъ ротъ...

* *
*

Утромъ, съ побудкой было новое представленіе. Обычно, когда горнистъ начиналъ играть сигналъ («противника мово бабахну съ писталета»), прибѣгалъ самый старый и заслуженный корпусной песъ — рыжій Чарли съ великолѣпными грустными глазами и старательно, громко подвывалъ горну. Во время зори это повторялось уже нѣсколько лѣтъ и каждый разъ всѣмъ намъ доставляло большое удовольствіе. Иногда горнистъ намѣренно повторялъ сигналъ, чтобы продлить этотъ своеобразный дуэтъ.

Въ это утро побудку слушали всѣ роты, высыпавъ изъ бараковъ. Горнистъ игралъ. Чарли вылъ, съ удовольствіемъ помахивая хвостомъ, глядя на молодыхъ, веселыхъ кадетъ, изъ которыхъ кое кто еще вытиралъ себѣ полотенцемъ раскраснѣвшееся отъ воды лицо. И тутъ же, среди толпы вьюномъ бѣгала Рында и, какъ комочекъ, катался въ пыли Бимсъ. Собаки переходили изъ рукъ въ руки, иногда повизгивая отъ неожиданностей бурной ласки.

Собаки были большимъ нашимъ утѣшеніемъ. У каждой изъ нихъ былъ свой нравъ, свои привычки. Чарли любилъ мясо и треску, ѣлъ только нашъ паечный хлѣбъ и брезгливо отвертывался отъ булки; сладкаго онъ не ѣлъ совсѣмъ; за то Бимсъ былъ сластена, и когда онъ выучился служить, то за одинъ маленькій кусочекъ сахару много разъ готовъ былъ продѣлывать свои фокусы. У Чарли была давняя привилегія. Когда, бывало, преподаватели собирались въ группу, чтобы идти на уроки въ Джебель Кебиръ, Чарли въ урочный часъ дожидался всѣхъ у раздорожицы, бросался со всѣхъ ногъ, взвизгивая и виляя хвостомъ, и затѣмъ чинно провожалъ до самаго форта. Оттуда онъ уходилъ тоже съ кѣмъ нибудь — онъ любилъ компанію.

Но самое большое удовольствіе было время прогулки, вечеромъ, передъ ужиномъ. Гуляли мы обыкновенно группами, иногда молча, иногда повторяя вслухъ однѣ и тѣ же мысли, хорошо всѣмъ извѣстныя и скучныя:

Всѣ дороги исхожены,
всѣ разсказы прослушаны. . .

Обычно мы гуляли по бѣлымъ вьющимся шоссе; по такъ называемой алжирской дорогѣ, которая змѣей ползетъ по безкрайней долинѣ и теряется гдѣ-то за песками, за переваломъ, упираясь не то въ море, не то въ небо. Но чаще всего мы ходили на Старый фортъ.

Это шоссе было запущено, по немъ не носились автомобили и не трусили на ослахъ арабы — оно лежало въ сторонѣ отъ большой дороги въ Бизерту. Незамѣтно, старая заросшая травой дорога поднималась въ гору и шла по склону — съ одной стороны громоздились скалы съ ключимъ кустарникомъ, а съ другой росли густыя мимозы съ яркими желтенькими цвѣточками и громадными иголками. Съ горы открывался чудесный видъ. Необозримыя маслины, Богъ знаетъ, когда насаженныя, вдали переходили въ сплошной зеленый коверъ. Распаханныя поля казались тканью, размѣренно вышитой шерстью. По каналу распласталась Бизерта, а по другую его сторону бѣлѣлись арабскіе городки и бросалась въ глаза зеленая куча дачи англійскаго консула съ бѣлымъ замкомъ посрединѣ. Направо — озеро, за нимъ виднѣлся Ферривилль, огоньки котораго въ порту загорались очень рано, а налѣво блестѣло всѣми красками открытое море. Сколько думъ поднималось у каждаго изъ насъ, когда мы смотрѣли на эти изученныя до мельчайшихъ подробностей картины, особенно по вторникамъ, провожая глазами отходящій въ Европу пароходъ — онъ всегда увозилъ кого-нибудь изъ русской колоніи, и мы знали, что скоро онъ увезетъ и насъ... Изъ года въ годъ, изо дня въ день мы дѣлали эти прогулки, знали, кто съ кѣмъ пойдетъ, о чемъ будетъ разговаривать, кому завидовать, кого ругать...

А гдѣ же собаки? Онѣ надъ обрывомъ дремлютъ, подъ веревками, на которыхъ вѣчно сушится чье нибудь бѣлье. Свистимъ, черезъ нѣсколько минутъ сбѣгаются псы, и мы идемъ. Всѣ собаки отлично знаютъ, кто куда пойдетъ, поэтому смѣло бросаются впередъ, задирая, кувыркаясь и обгоняя другъ друга. Чарли обыкновенно степенно бѣжалъ по шоссе, обнюхивая кусты, прислушиваясь къ лаю арабскихъ собакъ ближайшаго становища — съ ними у него были свои собственные счеты. На про-

гулкѣ Чарли былъ всегда сосредоточенъ и, видимо, думалъ какую то свою собачью думу. У Рынды проявлялся весь ея бурный нравъ. Она не могла оставаться спокойной ни на минуту, съ изумительной легкостью поднималась по скаламъ, какъ серна скатывалась внизъ. Она очень любила кидаться за брошеннымъ камнемъ — достанетъ, куда ни бросишь. Удивительно, какъ она не уставала! Бывало, рука ноетъ въ плечѣ, а Рындѣ и горя мало, увидитъ привычный жестъ — за камнемъ — и сейчасъ же пригнется на переднія лапы, готовясь къ прыжку.

Рында принадлежала старшей кадетской ротѣ. Хотя у нея былъ какъ будто хозяинъ, взявшій ее съ корабля, но въ сущности хозяевами ея были всѣ кадеты. Съ нею возились и забавлялись и въ ротномъ помѣщеніи, и на улицѣ, передъ бараками, когда послѣ отбоя, на перекресткѣ улицъ нашего лагеря, шумные мальчуганы старались залучить каждый себѣ веселую собаченку и продѣлывали съ нею всевозможные трюки. Одинъ подбрасывалъ ее, какъ футбольный мячъ, другой заставлялъ прыгать черезъ палочку, третій служить, ходить на заднихъ лапахъ. Рында покорно переносила все это, одинаково слушалась и не слушалась всѣхъ.

Ночью, когда становилось холодно или было скучно лежать на своемъ мѣстѣ въ курилкѣ, Рында спокойно забиралась кому нибудь подъ одѣяло, кочевала по всей ротѣ.

* *
*

Прошла прекрасная осень, особенно пріятная въ Сѣв. Африкѣ, когда нѣтъ знойныхъ, жаркихъ дней и наступаютъ чуть чуть прохладные вечера, безъ вѣтра — тихіе, и заходящее солнце оставляетъ свое золото на растущихъ по склонамъ лагеря маслинахъ. Въ эти ве-

чера послѣдняго года мы особенно много гуляли, особенно зорко всматривались въ морскую даль на приходящіе и отходящіе пароходы. Лагерь доживалъ послѣдніе мѣсяцы — къ веснѣ все должно быть кончено. Каждый долженъ былъ думать о себѣ. Всѣ дѣятельно готовились къ отъѣзду, къ неизвѣстной, новой жизни. Разговоры о ликвидаціи, о продажѣ всевозможнаго барахла были главной темой нашихъ прогулокъ. О собакахъ тоже были заботы, имъ подыскивались новые хозяева.

Зимой — февраль, мартъ — сплошные дожди и холодные вѣтры. Изо дня въ день, мѣсяцами дуютъ они въ одномъ и томъ же направленіи, заставляя маслины расти пригнутыми въ одну сторону. Въ баракахъ стало холодно, потому что невозможно было законопатить всѣ щели старыхъ гнилыхъ стѣнокъ. Черепицы стучали и лязгали, какъ костяшки. Дождь проникалъ въ новыя дыры, и на холодномъ и грязномъ каменномъ полу не просыхали лужи. Было жутко, послѣ суматошливаго дня, закрывши ставни, сидѣть въ баракахъ, слушая грозовые удары и отчаянные порывы вѣтра. Тонкія стѣнки бараковъ гнулись, по сучкамъ просачивалась вода, занавѣски качались, пламя въ лампѣ колыхалось, и то и дѣло на столъ падали крупинки мерзлаго дождя. Подъ стонъ черепицъ, трескъ досокъ и удары вѣтвей рожковаго дерева можно было думать, что сидишь внутри какой то баржи, которую въ бурю захлестываютъ волны.

Въ кадетскомъ баракѣ полутемно. Горятъ подвѣшенныя лампы. Холодно и неуютно.

Трудно согрѣться подъ тремя одѣялами. Рында стучитъ зубами отъ холода, прыгаетъ на одну койку и разгребаетъ лапами.

— Пошла вонъ!..

Испуганная, съ воемъ отъ пинка, бросается она отъ одной койки къ другой.

— Господа, это невозможно. Рында все одѣяло замазала. И безъ того грязища въ ротѣ.

— Глѣбка, убери ее! Вѣдь это твоя собака, ты ее привелъ.

— Собака ротная.

— Ей надо калоши выписать изъ хозяйственной части.

А Рында по прежнему бѣгаетъ по койкамъ, лѣзетъ съ грязными лапами подъ одѣяло и злобные шлепки сыпятся на нее все больше и больше.

Ее давно уже не ласкали, наоборотъ, смотрѣли на нее сердито и хмуро. Она уже надоѣла. И фигурка ея сильно измѣнилась. Пришла ея пора, она часто убѣгала изъ лагеря и возвращалась съ цѣлой ватагой арабскихъ псовъ, и злобная собачья грызня еще болѣе возбуждала къ ней брезгливую непріязнь уставшихъ за зиму людей. Судьба Рынды сдѣлалась предметомъ ссоръ между кадетами и особыхъ обсужденій въ ротѣ.

— Весною у нея щенки будутъ, кто будетъ съ ними возится? Кто ее тогда возьметъ? Все равно пристрѣлить придется. Лучше теперь...

Много спорили. Кадеты ходили хмурые, мрачные.

Послѣ одного изъ такихъ разговоровъ Рында вдругъ сдѣлалась предметомъ особаго вниманія со стороны кадетъ. Ее снимали на улицѣ въ позѣ прыжка за камнемъ, съ нею вмѣстѣ снимались группами. Поздно вечеромъ, послѣ того, какъ лагерь уснулъ, нѣсколько человѣкъ, выходя изъ барака, тихонько позвали Рынду съ собою. Она взглянула заспанными глазами, словно удивляясь необычному времени прогулки, но быстро побѣжала на зовъ. Шли тихо по хорошо знакомой тропинкѣ. Рында довѣрчиво шла рядомъ съ тѣмъ, кто первый привелъ ее въ лагерь; она только не понимала, почему ей не даютъ бѣгать, какъ всегда, а ведутъ на веревкѣ. Неподалеку бѣжали другія собаки.

За скотнымъ дворомъ, въ елочкахъ пронзительно свистѣлъ вѣтеръ, и было слышно, какъ вдали гудитъ растревоженное море.

— Рында, Рындочка, смотри! — Одинъ кадетъ нагнулся, поднимая камень.

Рында встрепенулась и пригнулась въ привычной позѣ на своихъ стальныхъ ногахъ и... склонилась, приникла къ землѣ послѣ выстрѣла винтовки...

* *
*

Утромъ, съ побудкой Чарли меланхолически подвывалъ по-прежнему. Попробовалъ поучиться этому и маленькій Бимсикъ. Бѣлой собаки съ темными подпалинами не было.

Вечеромъ мы пошли на обычную прогулку. На наши свистки что то не отозвалась ни одна собака. На бугрѣ, у раздорожицы, дожидался Чарли. Мы свернули внизъ направо.

— Чарли, гулять!

Но онъ продолжалъ, противъ обыкновенія, стоять на одномъ мѣстѣ.

— Чарли, Чарлюка! Что же ты, идемъ!

Чарли неподвижно стоялъ, глядя на насъ своими задумчивыми, грустными глазами. Потомъ онъ махнулъ хвостомъ и тихо пошелъ въ противоположную сторону.

ПОСЛѢДНІЙ ДЕНЬ.

(Посвящается послѣднему кадетскому выпуску Морского Корпуса).

Утромъ Петръ Петровичъ былъ разбуженъ звуками горна. Незатѣйливая мелодія отчетливыми ударами врѣзывалась въ уши, а Чарли, поднявъ голову, по обычаю вылъ, протянувъ вмѣстѣ съ горномъ послѣднюю ноту. Въ сотый разъ слышитъ Петръ Петровичъ эти мѣдные звуки, иногда съ досадой, какъ непрошенные, особенно зимой, когда льютъ дожди, въ баракѣ сыро и не хочется вставать на липкій и грязный цементный полъ, но сегодня онъ вслушивался въ нихъ съ какимъ то истомнымъ вниманіемъ.

Скоро звуки русскихъ сигналовъ здѣсь замрутъ навсегда, черезъ нѣсколько дней Морской Корпусъ прекратитъ свое существованіе, имущество его въ большихъ фурахъ отправятъ въ Бизерту, а тамъ куда-нибудь дальше, а его питомцы, облачившись въ синіе суконные пиджачки, послѣдній памятникъ работы дамской мастерской, съ чемоданчиками, корзиночками, сундучками будутъ загромождать до Марселя палубу парохода. Все это такъ естественно, логично, но все-таки грустно. Конецъ ученью здѣсь, но не конецъ вообще русскому ученью за границей; а между тѣмъ, сколько здѣсь убито труда по школьному оборудованію. . . такъ бы вотъ и учить даль-

ше, снабжая попрежнему учениковъ тетрадками съ якорными виньетками и учебниками собственнаго изготовленія, а то... школѣ конецъ, а эмиграціи конца не предвидится...

Петръ Петровичъ, натянувъ на себя зелененькую блузу, вышелъ изъ кабинки.

Свѣтило солнце. Въ лицо билъ сильный вѣтеръ и качалъ лилово-багряные цвѣты Іудина дерева.

Около бараковъ, на мостовой и передъ цейхгаузомъ были разложены всевозможныя вещи: топчаны — цѣлые и ломаные, съ выбитыми досками, мѣстами прогорѣлые— слѣды слишкомъ усерднаго выведенія клоповъ, безобразныя кучи старыхъ, коричневыхъ одѣялъ, грязныхъ и изорванныхъ, огромныя волны тента, твердой парусины парусовъ. Все это было строительный матеріалъ для кабинокъ внутри бараковъ. Тутъ же валялись чемоданы, корзины, ящики, парусиновые мѣшки, то пустые, то набитые какой-то рухлядью. Сушились на солнцѣ только что покрашенные свѣжей масляной краской, ждущіе ремонта, недочиненные, по частямъ разобранные чемоданы — ихъ внутренняя оклейка безстыдно пестрѣла, словно обои обнаженныхъ комнатъ въ разрушаемомъ домѣ. Около нихъ возились кадеты съ гвоздями и молотками въ рукахъ. Временами въ баракахъ что-то съ трескомъ рухало и въ окна выбивалась клубами пыль. Безпрестанно сновали люди, и по выраженію ихъ лицъ можно было сказать, что половина изъ нихъ не знаетъ, зачѣмъ и куда идетъ. Натыкались другъ на друга, останавливались, закуривали.

Подъ обрывомъ, у маслинъ — группы арабовъ. Ихъ отгоняли, но они чуяли добычу — нѣкоторые входили, присматривались, щупали, приторговывали...

Кадеты въ грязныхъ гимнастеркахъ были увлечены сборами. Они покидали лагерь съ той легкой, романтической грустью, которая свойственна молодости, — такъ

плачутъ институтки при выпускахъ, гимназисты прощаются съ гимназіей, обходя классы, мечтая о скоромъ ея посѣщеніи, но уже въ новой формѣ.

Но Петру Петровичу было по настоящему грустно. У стариковъ слабѣе тяга къ будущему: имъ трудно и боязно пускаться къ новымъ берегамъ, ихъ тянетъ къ пристани. Всѣ эти дни Петръ Петровичъ былъ самъ не свой. Было много дѣла, не только по хозяйству, по снаряженію къ дальнему путешествію, вычищая, сколачивая, укладывая нужныя и ненужныя вещи, но было много дѣла учебнаго. Годъ законченъ, отмѣтки выведены, остались лишь экзамены съ ихъ тяжелой суетной суматохой, сегодня послѣдній урокъ, когда уже «не занимаются». Но всѣ эти дни Петра Петровича угнетала мысль о чемъ-то недодѣланномъ, невыполненномъ, непройденномъ, недосказанномъ, для чего еще не найдена форма и не подысканы слова. Какъ старый педагогъ, онъ зналъ, что не всѣ пройденные уроки — выучены, зналъ, что можно забыть, а что рекомендуется «знать», но онъ понималъ, что есть моменты, мысли, фразы сокровеннаго значенія, которыхъ ни въ какихъ курсивахъ не сыщешь и которыя необходимо заставить запомнить. Учителю всегда есть, что сказать своимъ ученикамъ, но иногда это бываетъ особенно необходимо и *такъ* сказать, чтобы уже... на всю жизнь! Это нужно, всегда бываетъ нужно — для учениковъ, но иногда это бываетъ нужно и для самого учителя. И вотъ Петръ Петровичъ чувствовалъ, что сегодня онъ и долженъ сказать тѣ слова, по которымъ черезъ много лѣтъ, среди разныхъ мѣстъ и временъ, какъ по символическимъ знакамъ, онъ и ученики могли бы узнать другъ друга. По привычкѣ, онъ сталъ обдумывать заранѣе, откладывая окончательное резюме до послѣдняго. Но всякій разъ, когда онъ останавливался на этой темѣ, онъ незамѣтно для самого себя отклонялся отъ нея, удаляясь къ истокамъ своей учительской прак-

тики, вспоминая свою педагогическую жизнь, очень содержательную и бурную. Вѣдь онъ началъ при суровомъ попечительскомъ режимѣ и пережилъ революцію и гражданскую войну. Въ какихъ только перетрубаціяхъ не участвовала школа: комиссары, совѣтъ ученическихъ делегатовъ, школьныя забастовки. Отъ митинговъ въ большихъ актовыхъ залахъ, отъ съѣздовъ, отъ безконечныхъ засѣданій въ президіумахъ, отъ пестроты всякаго рода записокъ при голосованіяхъ, отъ редактированія безпорядочныхъ резолюцій, жизнь дѣлалась тягостной и утомительной, какъ затянувшійся за полночь экзаменъ. Послѣ этого гимназія съ ея уроками казалась мирнымъ пристанищемъ.

Онъ всегда любилъ школу, къ которой стремился, возвращаясь съ ваканта, учениковъ, визгъ и шумъ, этотъ изумительно здоровый шумъ ученической толпы, отъ котораго у свѣжаго человѣка кружится голова, какіе-то звуковые цвѣты, которые цвѣтутъ круглый годъ. Наоборотъ, пустые классы его подавляли. Но самыя блаженныя минуты его учительскихъ впечатлѣній относились къ урокамъ. Для учителя каѳедра — то же, что для артиста — эстрада. Самый видъ концертной залы съ раскрытыми нотами на пюпитрахъ волнуетъ. Петра Петровича всегда приводила въ волненіе каѳедра, съ высоты которой открывались десятки глазъ. Бывало, утомленный, чуть волоча ноги, входилъ онъ въ классъ и добредалъ до своего стула. Но какъ только онъ, поднявшись на возвышеніе, развертывалъ привычнымъ жестомъ журналъ, онъ уже чувствовалъ себя твердымъ и увѣреннымъ, хорошо знающимъ, что нужно дѣлать. И за эту любовь къ дикому шуму на перемѣнахъ, за слезы поставленныхъ двоекъ, за мучительныя объясненія съ родителями, за огорченія на педагогическихъ совѣтахъ, — уроки давали ему тѣ минуты радости и удовольствія, которыя понять можетъ, кажется, только учитель... Рука

пишетъ, языкъ говоритъ, глаза не только смотрятъ, но и высматриваютъ, ухо различаетъ специфическіе школьные шорохи, а внутри кто-то слѣдитъ и глубиннымъ слухомъ опредѣляетъ, какъ сначала, послѣ разстроенныхъ и безпорядочныхъ шумовъ, въ классѣ начинаютъ все чаще и чаще появляться паузы, какъ одинъ изъ учениковъ, обернувшись къ сосѣду, съ раскрытымъ ртомъ, на нѣкоторое время застываетъ въ этой позѣ, какъ другой, быстро взявши карандашъ, медленно кладетъ его обратно, какъ третій, вдругъ отодвинувши на столѣ всѣ книги, ставитъ на ихъ мѣсто локти, подпираетъ голову руками и устремляется глазами въ одну точку... И видитъ Петръ Петровичъ всѣхъ ихъ, и въ то же время, какъ бы не видитъ никого. Но онъ и ученики чувствуютъ другъ друга. Онъ знаетъ, какъ разрядить напряженное вниманіе класса и какъ его опять сосредоточить, и какъ не нужно стучать или повышать голосъ до крика, достаточно теперь сдѣлать еле уловимый знакъ, чтобы всѣ быстро отсмѣялись и стали вновь вслушиваться, сосредоточенно гримасничая, пряча улыбку. И когда кончался урокъ, его ли сколько разъ сказанной фразой, или рѣзкимъ звонкомъ, Петръ Петровичъ, поднимаясь вмѣстѣ съ учениками, зналъ объ удачѣ и взволнованно бѣжалъ въ учительскую легкій и бодрый.

Напослѣдокъ Петра Петровича побаловала судьба, давая ему возможность и въ изгнаніи дѣлать свое дѣло, и въ полутемныхъ казематахъ Джебель - Кебира, послѣ всѣхъ перерывовъ и отвлеченій неизмѣримо пріятно было опять возвратиться къ этимъ тихимъ бесѣдамъ о человѣкѣ и его дѣлахъ, чувствовать на себѣ испытующіе взгляды, то лукавые, то довѣрчивые, иногда негодующіе, иногда ласкающіе, и коварные вопросы уже не просто учениковъ — къ учителю, но дѣтей — къ отцамъ. И здѣсь были немалыя трудности, но дѣтское чутье вѣрное: блуждаетъ, но не обманываетъ...

Этотъ выпускъ былъ особенно дорогъ Петру Петровичу. Года четыре назадъ нѣсколько человѣкъ дѣтей составили въ Морскомъ Корпусѣ седьмую роту. Маленькій хвостикъ «седьмушекъ» въ батальонѣ всегда былъ предеметомъ насмѣшекъ и покровительства со стороны старшихъ. Малыши съ трудомъ осваивались съ требовательной дисциплиной, путались въ порученіяхъ на посылкахъ, не умѣя толкомъ отрапортовать, забывая во время позвонить въ колоколъ, висящій около комнаты дежурнаго по Корпусу, и на парадахъ и прогулкахъ, въ самомъ концѣ, безъ винтовокъ, въ припрыжку, сбиваясь съ ноги, еле поспѣвали за быстрымъ маршемъ колонны. Петръ Петровичъ особенно любилъ съ ними заниматься и отдавалъ имъ много времени; это былъ своеобразный матеріалъ — дѣти, не знавшіе, въ большинствѣ случаевъ, школы на родной землѣ, по дѣтски помнившіе Россію. И Петръ Петровичъ на своихъ урокахъ не держался строго книжной программы, много читалъ, бесѣдовалъ, не оставляя безъ отвѣта ни одного вопроса, не забывая о дѣтскихъ праздникахъ съ хорами и театральными представленіями. . .

Теперь «седьмушки» стали взрослыми кадетами, послѣднимъ выпускомъ Морского Корпуса въ Африкѣ. Петръ Петровичъ вмѣстѣ съ ними пріѣхалъ, вмѣстѣ и уѣдетъ, и кто знаетъ, гдѣ и какъ они будутъ жить, къ какимъ берегамъ поплывутъ... Хотѣлось напослѣдокъ сказать имъ многое, предупредить, наставить, подобрать слова, непосредственныя, точныя, которыя бы зафиксировались въ мозгу, какъ на фотографической пластинкѣ. Но чѣмъ больше онъ обдумывалъ, тѣмъ хуже выходило. То получалась какая-то сухая лекція съ историческимъ безконечнымъ введеніемъ, то какая-то сентиментальная галиматья, съ шаблонными словами, отъ которой тошнило. Необходимая, нужная линія не обрисовывалась. Мыслей и чувствъ было много, но слова не приходили.

— Все въ свое время, — рѣшилъ Петръ Петровичъ, зная по своему лекторскому опыту, что иногда у импровизаціи бываютъ свои права.

Уроки уже начались. Сейчасъ же за «движеніемъ впередъ» кто-то изъ преподавателей вошелъ въ классъ, и въ баракѣ стихло.

Петръ Петровичъ прошелъ въ свою кабинку и сѣлъ передъ письменнымъ столомъ. Въ окно былъ виденъ классный баракъ, въ которомъ за послѣдній годъ бывали и торжественныя собранія, и балы, и уроки. Мелькомъ пробѣжала въ головѣ мысль о томъ, что нужно дѣлать, но безслѣдно исчезла, какъ будто не зная, куда притулиться. . . .

Вотъ за этимъ письменнымъ столомъ, самодѣльнымъ, покрытымъ сѣрымъ солдатскимъ сукномъ, прошло нѣсколько лѣтъ занятій, тихихъ часовъ вечернихъ сидѣній у лампы съ абажуромъ, подготовки къ урокамъ. Книги были старыя, что и въ Россіи, а уроки, онъ это чувствовалъ, выходили новые, потому что и ученики-то были другіе, и къ далекимъ событіямъ нужно было подходить по другому. Это было интересно и увлекательно. Такъ бы и работать, пока есть силы раскрыть вечеромъ книгу, а утромъ пойти въ классъ.

И вотъ, теперь, какъ будто перевернулась послѣдняя страница, закрылись и книги, и души. Точка. Чистая отставка. Вслухъ вздохнулъ Петръ Петровичъ при мысли, что больше онъ уже не будетъ пробираться въ перемѣну въ вертящемся потокѣ, не какъ посторонній, заткнувши уши, а какъ свой человѣкъ, рабочій, среди рева станковъ и визга машинъ. . .

Вчера съ женой онъ пошелъ въ Джебель-Кебиръ на прогулку; проходя мимо форта, гдѣ помѣщался Корпусъ до этого года, зашли туда — посмотрѣть на старое пепелище. Вышло — пришли проститься. Въ караулкѣ, какъ всегда, — сенегальцы. На встрѣчу вышелъ красивый,

рослый сержантъ, темный, съ грустными глазами. Давъ разрѣшеніе, онъ скромно пошелъ сзади. Фортъ былъ мертвый, словно здѣсь прошла болѣзнь, чума. Двери и окна закрыты. Прошли со двора во внутренній ровъ и незамѣтно поднялись на валъ. Здѣсь рванулъ сильный вѣтеръ съ моря — начинался штормъ. Волны рябило, дробило и видно было, какъ онѣ безшумно, какъ на экранѣ, взлетали бѣлой пѣной на молъ. Начинало смеркаться и въ маякѣ блестѣлъ огонекъ... По лѣстницѣ спустились внизъ и вошли въ казематы. Тамъ было холодно, жутко, какъ въ склепѣ, по коридорамъ гулко отдавались шаги. Вошли въ помѣщеніе праваго крыла, здѣсь были классы, научные кабинеты, на одной бѣлой стѣнѣ, несмотря на полумракъ, видны были рельефно выведенныя для памяти математическія формулы. Молча и осторожно, какъ по кладбищу, проходили по классамъ, и когда опять вышли во дворъ и пошли къ воротамъ, Петръ Петровичъ вдругъ почувствовалъ, что здѣсь онъ оставляетъ что-то большое изъ своей души, что ему тягостно до физической боли въ горлѣ. Онъ разстроился. Жена его понимала и не говорила ни слова. Понималъ и сержантъ: онъ набралъ во рву цвѣтовъ и, провожая, передалъ ихъ женѣ Петра Петровича...

Отбой пробудилъ Петра Петровича отъ вчерашнихъ впечатлѣній и, минуту спустя, съ оглушительнымъ «ура» открылись двери барака и кадеты вынесли преподавателя на рукахъ.

— «Вотъ оно какое дѣло», — улыбнулся съ нѣкоторой досадой Петръ Петровичъ, — «значитъ, эта церемонія и мнѣ предстоитъ»... Въ этомъ было что-то вульгарное, офиціальное...

Черезъ десять минутъ Петръ Петровичъ входилъ въ баракъ. Нужно было сначала пройти спальню, а потомъ, черезъ тяжелую завѣску, — опущенный тентъ, — въ классъ. — «Встать! Смирно!», — послышалась коман-

да и дежурный началъ рапортовать. «Здравствуйте, господа!», сказалъ Петръ Петровичъ, и послѣ отмѣнно-громкаго «здравія желаемъ», сѣлъ за столъ, открылъ журналъ и сталъ отмѣчать кадетовъ, отсутствующихъ по наряду. Все это онъ продѣлывалъ сотни разъ, и было хорошо, что и этотъ урокъ начинался съ механической процедуры.

Захлопнувъ и намѣренно медленно отодвинувъ журналъ, Петръ Петровичъ обратился къ ученикамъ, обычно, какъ всегда приступая къ «разсказу», негромкимъ голосомъ, сознательно дѣлая паузы между словами, чтобы скорѣе и удобнѣе овладѣть вниманіемъ.

— Господа, — сказалъ онъ, — сегодня мой послѣдній урокъ. Нашъ курсъ законченъ. Вообще... все кончено... Разставаясь съ вами, въ этой обстановкѣ, мнѣ хочется сказать вамъ нѣсколько словъ на... тутъ Петръ Петровичъ сдѣлалъ паузу, бо̀льшую, чѣмъ нужно, и почувствовалъ, что слово застряло, не выговаривается. Быстро овладѣвъ собой, онъ продолжалъ... и послѣ ряда фразъ увидѣлъ себя, какъ въ лодкѣ, которую оттолкнулъ отъ берега, не взявши веселъ — какъ и куда плыть?.. Вслушиваясь въ свои длинныя тирады, Петръ Петровичъ понялъ, что говоритъ что-то скучное, плоское, надоѣвшее. Тогда онъ рѣзкимъ оборотомъ прервалъ свое введеніе и смѣло перешелъ къ разсказу о себѣ, о томъ, что чувствуетъ и переживаетъ, не заботясь ни о стройности, ни о систематичности рѣчи. Полились слова, за которыми онъ мало слѣдилъ, но онъ видѣлъ лица учениковъ: нѣкоторые смотрѣли на него съ удивленіемъ и съ саднящимъ любопытствомъ, другіе пытались криво улыбнуться, нѣкоторые, уткнувшись конфузливо глазами куда-то подъ столъ, дѣлали внутреннее огромное усиліе, словно старались остановить свое дыханіе, а лица ихъ краснѣли и стали краснѣть глаза...

Чтобы справиться съ собственнымъ волненіемъ, Петръ Петровичъ началъ ходить по классу, чувствуя,

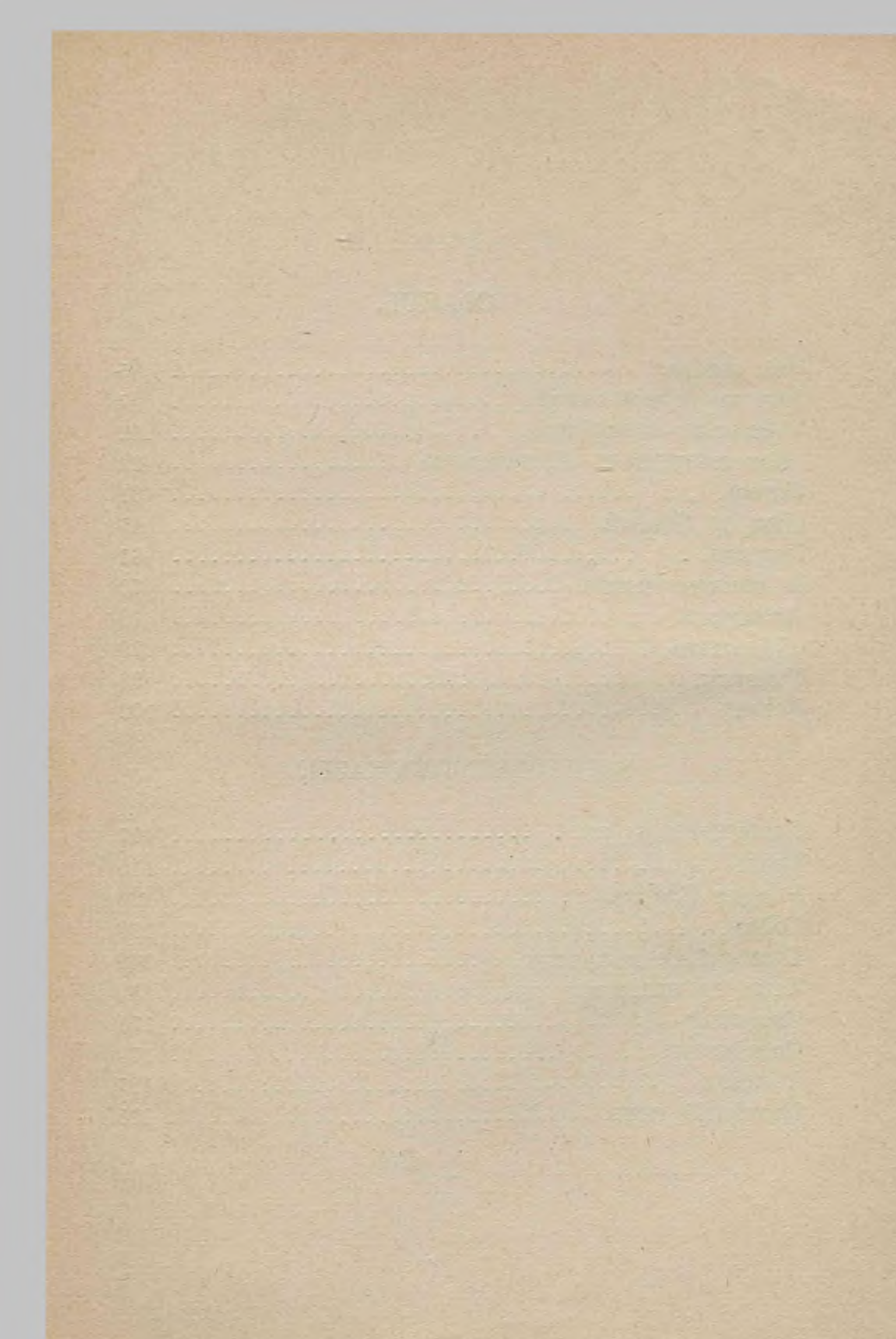
что нашелъ, что нужно, схватилъ надлежащій тонъ... но нервы его не выдержали: комки подступали къ горлу все больше и больше, слова застревали, мысли не договаривались, онъ начиналъ нервничать, сердиться на самого себя: «Распустился! Развелъ канитель! Слякоть какая»... и Петръ Петровичъ ощущалъ всѣмъ своимъ тѣломъ, что дѣло совсѣмъ плохо, когда артистъ плачетъ на эстрадѣ, по настоящему, что скоро все это выльется въ какую-то истерику, непереносимую и непристойную на каѳедрѣ, но всякая его попытка перейти къ другимъ настроеніямъ аудиторію успокаивала, но зато и расхолаживала... Такъ онъ метался нѣсколько минутъ. До конца урока было еще далеко, дать волю своему нутру было уже невозможно — линія была потеряна — болѣе не выдержать ни онъ, ни ученики, которыхъ уже не различаютъ глаза и ползутъ по щекамъ неудержимо слезы...

Тогда, понявъ, что то, что происходитъ сейчасъ и есть *конецъ* его, Петра Петровича, о чемъ знать имъ, сидящимъ здѣсь ученикамъ, даже не нужно, что теперь уже излишни всякія слова, Петръ Петровичъ круто повернулся, махнулъ рукой, провопилъ: «прощайте, господа!» и добавивъ самое простое, обыкновенное пожеланіе, отъ котораго у всѣхъ защемило на сердцѣ, бросился къ столу за журналомъ.

Въ этотъ моментъ словно упала черепица или рухнула крыша... Съ громкимъ, освобождающимъ крикомъ кадеты бросились къ нему, выхватили журналъ, и Петръ Петровичъ очутился на верху, какъ на гребнѣ волны и отдался теченію...

Крики «ура» кончились у кабинки, у гамака, на который опустили обезсиленнаго Петра Петровича...

Черезъ полчаса онъ, съ кастрюлькой въ рукѣ, стоялъ у камбуза въ очереди за обѣдомъ.



ОГЛАВЛЕНІЕ.

СФАЯТЪ.

КОРПУСНЫЕ РАЗСКАЗЫ.

Условія подписки на 1935-й годъ (Подписка типа № 1)

Безъ приложеній (52 №№ журнала)

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
На 12 м.	90	110	36 зл.	150	125
3 м.	—	30	10 зл.	40	35

Съ прилож. 52 №№ журнала и 44 книги (или 52 книги при замѣнѣ 2 т. Коковцова на 10 книгъ)

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
На 12 м.	240	320	108 зл.	370	340

Подписка съ приложен. принимается только на годъ, во избѣжанія разрозненности комплектовъ и авторовъ.

ДЛЯ ГОДОВЫХЪ ПОДПИСЧИКОВЪ ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
При подп.:	30	30	Ежемѣс. съ января по 3 зл.	50	35
Съ 1 марта 10 мѣсяц. по	6	8		10	9

Внесшіе всю плату сразу впередъ за годъ, получаютъ премію 1 книгу.

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
При подп.:	40	70	Ежемѣс. съ января по 9 зл.	120	90
Съ 1 марта 10 мѣсяц. по	20	25		25	25

Внесшіе всю плату сразу впередъ за годъ, получаютъ премію 2 книги.

Добавочныя подписки

ПОДПИСЧИКИ СЪ ПРИЛОЖЕНІЯМИ НА 1935 г. МОГУТЪ ПОДПИСАТЬСЯ ПО ВЫБОРУ ДОБАВОЧНО НА 50 КНИГЪ (подписка типа № 2) ИЛИ НА 100 КН. (подписка типа № 3).

СО СПИСКА А

34 КН. - полнаго собр. сочиненій **Ф. М. ДОСТОЕВСКАГО**

34 КН. - полнаго собр. сочиненій **Л. Н. ТОЛСТОГО**

10 КН. - полнаго собр. сочиненій **Н. В. ГОГОЛЯ**

3 КН. - полнаго собр. сочиненій **Н. А. НЕКРАСОВА**

2 КН. - „Записки Охотника“ **И. С. ТУРГЕНЕВА**

3 КН. - [illegible] воспоминанія **Вел. Кн. Александра Михайловича**

2 КН. - „Крушеніе Великой Имперіи“ **Миссъ БЬЮКЕНЕНЪ**

4 КН. - для дѣтей: сочин. **А. С. ПУШКИНА**

„ **МАЙНЪ РИДА**

„ **САШИ ЧЕРНАГО**

и сказка **КОНЕКЪ ГОРБУНОКЪ**

2 КН. - Морскіе разсказы „ФЛОТЪ“ **А. П. ЛУКИНА** Капитана 2-го ранга

2 КН. - Сборн. по исторіи анти-больш. движ. **„БЫЛОЕ“** Подъ редакціей В. Л. Бурцева

3 КН. - произведенія сов. авторовъ **Мих. ЗОЩЕНКО, Бор. ПИЛЬНЯКА и Вяч. ШИШКОВА**

1 КН. - Очерки „Бурсы“ **Н. ПОМЯЛОВСКАГО**

Подписка типа № 2 добавочныхъ 50 книгъ:

Условія на 52 журнала, всѣ приложенія 1935 г. и добавочныхъ 50 книгъ со списка А

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
На 12 м.	390	530	180 зл.	590	540

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
При подп.:	90	130	Ежемѣс. съ января по 15 зл.	190	140
Съ 1 марта 10 мѣсяц. по	30	40		40	40

Еженедѣльно № журн. и 2 книги.

Внесшимъ всю годовую плату сразу впередъ, высылается немедленно 100 кн. и особая премія — 3 книги.

Подписка типа № 3 добавочныхъ 100 книгъ:

Условія на 52 журнала, всѣ приложенія 1935 г. и добавочныхъ 100 книгъ со списка А

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
На 12 м.	540	735	252 зл.	800	750

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА

	Франція и колоніи	Въ Европѣ	Въ Польшѣ	Внѣ европ. страны	Сѣв. Амер. и Дальн. Востокъ
При подп.:	140	185	Ежемѣс. съ января по 21 зл.	200	200
Съ 1 марта 10 мѣсяц. по	40	55		60	55

Еженедѣльно № журн. и 3 книги.

Внесшимъ всю годовую плату сразу впередъ, высылается немедленно 100 книгъ и особая премія — 5 книгъ.

Imprimerie Beilinson, Tallinn.

Le Gérant: A. GINESTE.